МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ
(Аджук-Гирей)

ГРОМОВЫЙ ГУЛ

Историческая повесть

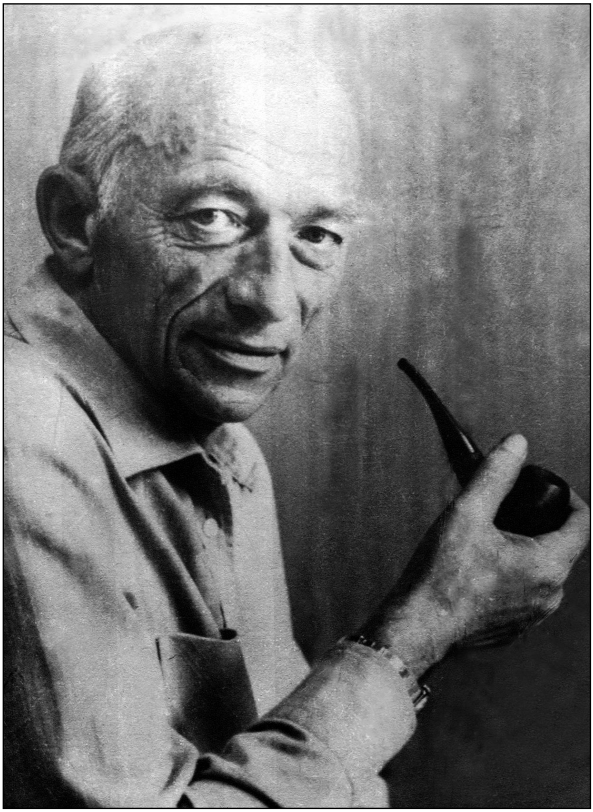
Издательство «Меридиани»
Тбилиси 2010

Книга издана при финансовой поддержке «Фонда Кавказа»

© «Фонд Кавказа»
© А. Лохвицкая, Ю. Лохвицкий
© Издательство «Меридиани» , 2010

ISBN 978-9941-10-223-3

უაკ (UDC) 821.161.1-311.6
ლ-813



ГРОМОВЫЙ ГУЛ

Историческая повесть

Памяти моего деда
З. П. Лохвицкого (Аджук-Гирея)

«И были люди только единым народом, но разошлись…»

Причин, заставивших меня, государственного преступника Якова Кайсарова, сосланного в места не столь отдаленные, а именно, на Верхнюю Тунгузку или, как ее именуют тунгузы, Ангару, за измену воинскому долгу и оскорбление, нанесенное члену царствующей фамилии, причин этих, заставивших меня взяться за перо, несколько. Вернее, главная причина одна, а вот соображений, вытекающих из нее, предостаточно.

Я не литератор, мне не приходилось писать ничего, кроме писем,– говорили, правда, что они удавались,– и не знаю, как писатели находят ту именно первую фразу, с которой должно начинаться их творение, будь то роман или повесть, или биографические записки. Впрочем, решись я писать мемуары, дело обстояло бы проще пареной репы. Мемуары нынче на Руси пишут все, кому не лень, и начинаются они одинаково: «Я, такой-то, родился…» Или: «Мой дед, такой то, был…» И пошла писать губерния! Мемуары, по моим наблюдениям, в большинстве своем пишутся людьми самовлюбленными, воображающими, что жизнь их – образец для подражания, наука потомкам. Такие мемуары все равно что памятник, поставленный при жизни самому себе калужским купцом третьей гильдии по фамилии, насколько мне помнится,

Опришкин. Памятник представлял собой аляповатое сооружение из полированного мрамора, с крестом, с резными колоннами по углам и позолоченной надписью: «Зри, прохожий, се я, человек, до последнего дня трудившийся на благо отечеству, за что был окружен бесконечным уважением сограждан». Но я не намереваюсь вспоминать своих предков и не ради удовлетворения тщеславия и возвеличивания своей персоны сижу сейчас перед окном, выходящим на потемневшую Ангару, рву лист бумаги за листом, грызу перо и чувствую себя человеком, заблудившимся в бескрайней степи. Поскольку я взялся писать не умеючи, буду излагать все, как бог на душу положит, по возможности кратко, задерживаясь лишь на том, что представляется важным или лучше помнится, или очень уж дорого мне, и ничего не стану исправлять, зачеркивать и переписывать. Если иные воззрения мои покажутся наивными, суждения излишне резкими, а события и люди обрисованными с пристрастием в ту или иную сторону, пусть читатель, прежде чем осудить меня, подумает о том, что строки эти написаны не образованным литератором и мыслителем, а всего лишь разжалованным поручиком ссыльным, а главное, пусть не побоится прямо и честно посмотреть в лицо правде.

С записок этих я сниму копию. Второй экземпляр отдам, когда буду в пути, кому-либо из надежных людей на сохранение, а первый отошлю в «Отечественные записки». Что бы там ни говорили, а, по моему разумению, это нынче самый порядочный из наших журналов. Если опубликуют, цель моя будет достигнута, не примут, что ж, не я первый, не я последний. Авось прочтут в грядущие времена. Когда наступят они? Не знаю. Я их, во всяком случае, не дождусь.

Решение излить свою душу на бумаге зрело во мне, как я теперь догадываюсь, постепенно и порождено было тайными муками совести, той постоянной болью, которая иссушила меня и превратила человека средних лет почти в старика. Имею в виду не только свою собственную совесть, а и ту всеобщую, частица которой есть и в вас, и во мне, в каждом человеке. В многострадальном народе нашем она не выражена осознанно, она еще дремлет и пробивается в бытии лишь в уродливой форме пьянства. Вливает

в себя мужик белую, с двуглавым орлом, рвет на груди рубаху и мычит от боли, непонятной ему, а потому не высказанной словами. Среди книг и журналов моих, собранных за годы ссылки, – большая часть их о Кавказе, – есть девятая книга «Современника» за 1859 год с рецензией г-на Н. Добролюбова на чье-то, не помню, сочинение, и в ней сказано о том, что неурожай, падеж скота, немилость старосты, гнев барина, наезд станового – эти нравственные причины, препятствуя ровному течению жизни, и приводят человека к стремлению затопить свою тоску в вине. Очень верно замечено. Почему, однако, никто из наших литераторов не возвысил свой голос против преступления, совершенного именно в те годы, когда высочайшим манифестом повелено было покончить с крепостным правом? Впрочем, виновный не менее других, могу ли я бросать в кого-нибудь камень? Спасибо и на том, что наиболее просвещенные деятели выказывали жалость и сострадание к безвинно страдающим черкесским племенам. Что же касается до народа нашего, то прелесть своеволия горцев всегда действовала на него притягательно и две капли крови: русская и черкесская – давно бы слились, если б не противодействие монархической власти на Руси.

Толчком, заставившим меня сесть к столу, стало внезапное решение бежать отсюда. Не столь отсюда, сколь туда, в места, где жизнь моя претерпела такой крутой переворот, что сейчас и мне самому он кажется почти невероятным. Внезапные взрывы свойственны многим и особенно русскому человеку. Таких взрывов в моей жизни было немного, но меняли они все совершенно. А в промежутках я жил, как все, и это-то и было самым худшим, ибо именно так живут овцы, которых гонят сперва на пастбище, потом на убой.

Третьего дня уездный исправник, посетивший наше село, – вы, конечно, наслышаны, как приезжают в деревни исправники, имеющие в здешних местах, на площади величиною почти с Италию, никем не сдерживаемую власть над людьми: влетает с криком верховой, за ним из тарантаса, запряженного тройкой с бубенцами, вываливается жирная, с заплывшими от пьянства глазами шестипудовая туша, слышится ругань, раздаются зубо-

тычины, творится суд и расправа, затем в избе у старосты льется сивуха, и утром – стук копыт, звон бубенцов, и все облегченно вздыхают,– так вот, уездный исправник, оказавшийся каким-то чудом из читающих, забыл книжку Р.А.Фадеева «60 лет Кавказской войны». Об этом известном военном публицисте я был наслышан, даже встретился однажды с ним, когда он состоял при главнокомандующем на Кавказе князе А. Барятинском. Знал, что он рьяно проповедовал объединение славянских народов под главенством России и воспевал в своих статьях наши подвиги на Кавказе. Как личность, он показался при знакомстве излишне развязным, самоуверенным, а рассуждения его поверхностными. Староста принес томик, забытый исправником, мне, как единственному книгочию в селе. Разумеется, я набросился на книжку, сперва читал более или менее безразлично, ибо все описываемое пережил, но, дойдя до слов: «Правда, то были похороны исчезавшего народа... Нечего жалеть, что береговая полоса пуста покуда. Вырваны плевела, взойдет пшеница», отбросил книгу и, не в силах усидеть спокойно, вышел на берег Ангары и стал ходить. Я прислушивался к ровному рокоту могучей воды, к плеску хариусов у самого обрыва и остановился взглядом на дали, в которой река словно бы вливалась в алеющее небо, и краски эти напомнили мне другой совсем день и багровое солнце, опускающееся в море, ужас, охвативший меня от увиденного на берегу, одним словом все, опрокинувшее тогда мою жизнь. И я удивился, как можно было столь рабски покорно просуществовать столько лет. Бежать, во что бы то ни стало бежать! И не только ради того, чтобы снова пройти когда-то исхоженными скорбными дорогами, но и с целью отыскать девочку и мальчика – единственных, кто, как я полагаю, остался в живых, они приходились друг другу, несмотря на небольшую разницу лет, тетей и племянником, она доводилась и мне родственницей, а он был моим племянником и воспитанником. Если б мне удалось отыскать их!

Вернулся в избу. Сперва сидел при лучине, просматривая газеты. Доставляют их сюда с запозданием на два-три месяца, часто целой кипой, а то и вообще корреспонденция оказывается утерянной и не доходит до адресата.

Первое время по прибытии я жадно набрасывался на газеты, однако сведения, в их числе и сообщения российского телеграфного агентства, столь отрывочны и скудны, что составить по ним даже поверхностное представление о происходящем в России и, тем более, в Европе, почти невозможно. Где-то затонул пароход, там пострадали от землетрясения или наводнения жители, там убийство произошло, где-то на противоположном конце света канал прорыли... За все время самой значительной была весть о покушении Каракозова на государя. Да и то сперва пронесся слух, затем нарочный привез указание отслужить в нашей церковке благодарственный о спасении царя молебен, и уже спустя два месяца я прочел в газете официозное уведомление. А про то, что во Франции в 1871 год случилась революция, я узнал только в позапрошлом году, и не из газет, а рассказал чиновник канцелярии губернатора, следовавший мимо по какому-то делу, кажется, переписи тунгузов. Остерегаясь клопов и тараканов, кишмя кишащих в избах, он заночевал у меня, благо в моей комнате стоит вторая кровать. Кровати здесь в диковинку, спят обычно на полу и в одежде. Вечером, за чаем из сушеных сосновых почек, мы разговаривали, и чиновник сообщил, якобы одним из деятелей революции в Париже был поляк, бывший офицер русской службы. Поляки и здесь, в иркутской губернии, на каком-то руднике не столь давно бунт подняли. Кончился бунт кровопролитием...

Читателю не представить, как оторван от мира ссыльный поселенец и особенно в такой глухомани, как Приангарье. Слухи, и те доходят до здешних таежных мест искаженными до невероятия. Писем же я не получаю, не от кого, а новостями запасаюсь лишь во время редких наездов в Енисейск.

Отложив газеты, лег, но сон бежал от меня. Я лег с открытыми глазами, и передо мной река катила свои воды в алеющее небо. Какие просторы здесь! Места богатейшие, совершенно не освоенные, на протяжении тысяч верст не встретишь человека, разве что горстку кочующих тунгузов или остяков, доверчивых, гостеприимных людей. Это здешними дебрями два века тому пробирались казацкие дружины да вольница промышленников на лыжах и на нартах, с пищалью и луком за плечом, а за ними – воеводы,

снабженные царскими наказами, назначавшие зимовья и остроги.

Под утро стал строить планы побега. Осуществить его вовсе не трудно, я не раз отлучался то с добрым моим хозяином в тайгу, на охоту, на месяц и больше, то ездил, и не единожды, в Енисейск, так что хватятся меня не скоро. Нужные бумаги за деньги раздобыть, наверное, не трудно будет, а у меня есть кое-какие сбережения, оставленные мне покойной матерью. Хорошо еще, что меня поселили на Ангаре, а не в Тобольске, Нарыме или Березове, бежать откуда, судя по рассказам, почти невозможно. Собственно, попал я сюда по пословице – не было бы счастья, да несчастье помогло. Заболел в дороге, был оставлен при смерти в Красноярском остроге, однако поправился, а потом, поскольку высокое начальство обо мне не запрашивало, стараниями бывшего кавказца, одного из чиновников канцелярии Енисейского губернатора, был направлен на поселение сюда, откуда затем можно было бы перебраться в Енисейск, да мне не хотелось. Все последние годы я жил будто в тяжелом сне и ничего не намеревался менять в своем бессмысленном существовании.

Не исключено, что я не сумею добраться до места и меня схватят. Каторжных работ мне тогда не миновать, и конец будет один – сгину бесследно на каком-нибудь прииске. И тут я смутился одним вопросом: в случае неудачи со мной вместе исчезнет и все, что я знаю и помню. Того, что я пережил, не пережил или, во всяком случае не видел так, как я, никто другой. А если я ошибаюсь, если были и другие, пережившие то же самое, то они молчат. Так имею ли я право унести в могилу свое знание, не рассказать людям о живых кладбищах, о заросших бурьяном пепелищах, о той единственной, которую я любил и которая погибла из-за того, что я не сумел защитить ее?

Можно ли надеяться на снисходительность судьбы, на милость божью, которые отведут от беглеца полицию и надолго сохранят ему здоровье и жизнь? Сперва все записать, а потом уже в путь-дорогу или, как говорят варнаки, в бега.

Подобно другим людям моего круга, я мало понимал в большой политике и редко задумывался о тех или иных действиях на-

шего и других правительств, не разбирался в хитросплетениях дипломатии, привык верить газетам, нисколько не стараясь, особенно в юности, иметь собственное суждение. Воспитывали всех нас, тем более кадетов, в верноподданническом духе, и даже заговор декабристов не дал нам, получившим в середине века военное образование, пищу для размышлений. Упоминать о декабре 1825 года в печати запрещалось. Мне были известны лишь имена повешенных, зачитывался я повестями А. Марлинского, о котором знал, что Марлинский – псевдоним декабриста Бестужева, он в одном из сражений на Кавказе, у мыса Ардилер, якобы не погиб, а перешел на сторону горцев. Говорили так потому, что тело его не было найдено среди убитых. Поскольку такая версия была романтической, и простая логика прямо-таки диктовала воображению: заговорщик, восставший против царя, не мог не перейти на сторону головорезов-черкесов, мы, молодежь, больше хотели верить в эту легенду, чем сомневаться в ней. Презабавно, что по своему извечному придворному германофильству чиновники заменили черкесское Ардилер на немецкое Адлер, то ли по названию притока Эльбы в Богемии, то ли потому, что такое звучание могло ласкать слух советчика императора графа Адлерберга.

Вспоминаю я обо всем этом по причине того, что пытаюсь по крупицам собрать воедино почву, на которой мог зародиться и произрасти мой безумный по взглядам нынешнего времени поступок. Что знал я в юности о Кавказе? Если в нескольких словах, то складывалось мое знание из следующего: живут там дикие, непокорные племена, разбойники-абреки, вся жизнь которых проходит в набегах на соседей, басурмане – люди магометанской веры, пока их не покорят окончательно, православные не будут знать спокойствия. Одним словом, не было для меня, молодого человека дворянских кровей, службы более почетной, чем война с горцами. Кроме того, черкесы, как и все азиаты, ленивы и несообразительны. Несколько противоречили этому повести А. Марлинского, из которых следовало, что черкесы красивы, благородны, умны, скромны и трудолюбивы. Противоречие, как и всех моих знакомых, меня не смущало и не вызывало никаких вопросов, потому что было нечто третье, из которого вытекало

наше собственное всеобщее великодушие и благородство. Умиляясь собственной гуманности, мы твердили, что, дескать, дикость кавказских племен и их нападения на казачьи станицы можно по-христиански простить, ибо набеги – проявление варварства. Покорив горцев, мы принесем к ним православную веру, нашу просвещенность (грабители чиновники и просвещенность! Где ты, о великий Гоголь, со своими образованнейшими Собакевичем и Кувшинным рылом?!) и облагодетельствуем их. Мы жалели несчастных, погрязших в невежестве горцев и, наверное, до сих пор, как это было при мне, модно еще приглашать в дом и обласкивать случайно занесенного в наши края аварца, черкеса, грузина или армянина – столь гордившееся своей образованностью провинциальное общество совершенно не умело их различать. До отъезда на Кавказ я заехал в Калужскую губернию повидаться с матерью, и она рассказала, что побывала в Калуге, была приглашена на бал к губернатору, где увидела горцев, переселенных в Калугу с Шамилем. Сам Шамиль от приглашения отказался, но родственники и приближенные его были. «Очень привлекательные, статные молодые люди, – поделилась своими впечатлениями мать, – и с большим достоинством держались. Все были к ним внимательны, но, знаешь, мне почему-то показалось, что также внимательны были бы наши дамы и к молодым львам, если б их привезли из Африки». Тогда это живое наблюдение матери проскользнуло мимо, а теперь вспомнилось. Припоминается еще одна, услышанная мною от очевидцев, совершенно достоверная история. В сентябре 1861 года в урочище Мамрюк-огой, где помещалась ставка его императорского величества, всемилостивейшего царя – освободителя крестьян Александра II, приехала черкесская депутация – просить, чтобы русские войска перестали изгонять мирных жителей, прекратили военные действия. Не став слушать, царь бросил: «Выселиться, куда укажут, или переселиться в Турцию!» Повернувшись спиной к черкесам, он вышел. Когда взгляды свиты обратились к царю, он закрыл повлажневшие глаза рукой и тихо, скорбно произнес: «Я не мог смотреть на этих несчастных страдальцев». Офицеры после с восхищением рассказывали друг другу о великодушном сердце государя. Общество наше твердо

следовало по стопам своего гуманного императора. О фарисействе православия я даже не хочу говорить подробно. Отцы святой церкви так откровенно освящали именем Христа уничтожение людей, что это должно было броситься в глаза каждому, тем более верующему человеку. В ноябрьском номере «Церковной летописи» за 1864 год напечатано было сообщение о приезде великого князя Михаила в Херсонесский монастырь и о молебствии в церкви святых Седьми великомучеников. Настоятель монастыря архимандрит Евгений, приветствуя великого князя, сказал, имея в виду «замирение Западного Кавказа», что князь «принес оливу мира туда, где некогда остановили ковчег Ноев (почтенный архимандрит видимо, не изучал географии) и где тогда было гнездо врагов России». Ничего себе «олива мира»! Представляю, как запрыгали от этих слов в своих гробах мощи великомучеников. А словечко «замирение» каково? Надо же было такое придумать!

Вернусь к себе. Село Троицкое, где мы жили, – отец был там управляющим, умер он рано, когда мне было девять лет, – стоит на берегу Протвы. Имение когда-то принадлежало княгине Воронцовой-Дашковой, первому президенту Российской академии наук и искусств. Старики рассказывали, что в Италии она подружилась с возлюбленной адмирала Нельсона Эммой Гамильтон, и что та будто бы приезжала в гости в Троицкое. Наверняка это досужие фантазии, но рядом с Троицким стоит и по сей день деревня Гамильтон, заложенная Дашковой. Мы жили во флигеле, рядом со старым домом княгини, за которым шел огромный парк с мраморным обелиском в честь Екатерины II, на берегу реки бумажная фабрика, а напротив дома церковь, в которой похоронена Дашкова. Парк был изрядно заброшен и от этого запустения особенно привлекателен. Летними вечерами над кустами вспыхивали огоньки светлячков. К реке шел крутой обрыв, на воде плавали кувшинки, а другой берег был пологим, заросшим осокой. Река не велика, саженей семь-восемь шириной, но в половодье она разливалась иной раз так, что село превращалось в остров посреди неоглядного озера. Как хороши мы в детстве, и как от этого все хорошо вокруг нас! В мелководных старицах Протвы произрастал водяной орех – чилим. Осенью орех тонул, на дне зимовал, а

весной прорастал, и росток, дотянувшись до верха, распускал по воде листья, похожие на березовые, только в листовых черешках находились воздушные пузырьки, они держали листья на воде, а скорлупа чилима оставалась на дне, как якорь. До кадетского корпуса я с мальчишками в августе плавал по реке за орехами, а чаще мы сражались на деревянных саблях или палили из мушкетов, вырезанных тоже из дерева старым унтер-офицером, отслужившим двадцать пять лет на Кавказе, Тимофеем Кузьминым. Не помню, рассказывал ли он мне что-либо о горцах, когда я был маленьким, но, приезжая на вакации уже старшеклассником, я несколько раз пытался его расспросить. Чем ближе было к окончанию кадетского корпуса, тем чаще толковали мы между собой о будущем, о карьере, о службе на Кавказе, которая давала молодому офицеру скорейшую выслугу и ряд других преимуществ. Тимофей хмыкал в продымленные табаком усы и не очень охотно образовывал меня. Вот как выглядела в его изложении причина Кавказской войны.

– Ежели начать издалеча, то было так: черкесы всегда жили вольно, никого не пущали воевать свою землю. А тут не пондравилось царице Екатерине, что запорожские казаки тоже построили себе вольготную жизнь, взяла она да и переселила казаков на Кавказ в надежде, что черкесы и казаки зачнут друг дружку трескать по усысям на помин души и взаимно истребят. А казаки возьми, да и стали с черкесами кунаками и одежду их переняли, и обычаи, одним словом здоровы стали так ужасно, что царица совсем испужалась. Тогда сенат и порешил: с богом, ура, солдатушки, за матушку-царицу! И казаков тож прижимать начали...

Когда я спрашивал, какие они, черкесы, Тимофей почему-то ухмылялся и бормотал:

– Баской народ, нравный.

Другого ответа я от него не сумел добиться. Ничего не смог он рассказать и о том, что меня более всего занимало – о лихих атаках и сражениях. По воспоминаниям Тимофея получалось, будто вся боевая служба его состояла из валки леса, рубки фруктовых деревьев, строительства дорог, сжигания посевов и сакль. Для чего было вырубать сады и рушить дома горцев, я не мог по-

нять и заподозрил, что Тимофей или выдумывает, чего не было, или все двадцать пять лет торчал в интендантской команде и ни разу пороха не нюхал. Однажды, подвыпив, Тимофей спел старую солдатскую песню, позже я еще раз услышал ее от капитана Закурдаева, сыгравшего такую значительную роль в моей судьбе. Тимофей встал по стойке «смирно», скомандовал самому себе:

– Шаго-ом арш!

И сиплым тенором, – наверное, он был в молодости ротным запевалой, – загорланил, маршируя:

Эй, черкесы, вы не чваньтесь,
Ваши панцири нам прах!
Лучше вы в горах останьтесь,
Чем торчать вам на штыках!
Александра умоляйте
О пощаде ваших дней!
И колена преклоняйте
Пред великим из царей!..

Солдатскую песню я одобрил, и она немного восполнила нехватку боевых подвигов в воспоминаниях Тимофея. Я даже повел его к нам и попросил мать угостить старика домашней наливкой. Он выпил рюмку, крякнул и гаркнул так, что мать вздрогнула:

– Пок-корнейше благодарю!

Закончив корпус, я уже более основательно образовался в правительственной политике. Мы, молодые офицеры, могли с уверенностью втолковать какому-нибудь неучу, что Англия издавна стремится овладеть Кавказом, ибо он ключ к Малой Азии, Персии, Афганистану, наконец, Индии, что англичане и прочие наши враги, утвердившись на Кавказе или добившись хотя бы союза с горцами, нанесут урон российскому государству, и, спасая от британцев свое отечество, мы должны, исполняя свой патриотический долг, повторю приведенные мною слова архимандрита Евгения, уничтожить гнездо врагов России. Удивительно, как слеп был я тогда, как мог, справедливо оценивая колониальную политику Англии, не видеть, что Афганистан, Персия, Царьград

и Индия издавна манили и нас, что между лордом-поджигателем Пальмерстоном с королевой Викторией и нашим канцлером Нессельроде с царем Николаем I не было никакой разницы. «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Никак мы не научимся по отношению к своей империи следовать мудрому совету баснописца Крылова. Чтобы прозреть, надо, видимо, самому по уши окунуться в кровь и грязь.

Мать благословила меня прадедовой иконой Георгия Победоносца, и я двинулся на юг, повторяя про себя слова из поэмы Пушкина: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов!» Вполне созревший для подвигов во имя России, я спешил навстречу славе.

Дорога и первое знакомство мое с горами свежи в моей памяти, словно это было вчера. Мне казалось, что я лечу навстречу теплу и свету. Уползали назад грязно-белые снега, сменяя их, курился над обнажившимся черноземом пар, потом по обеим сторонам езжалого пути легли словно бы только обмытые зеленя. Рябило в глазах от пестроты луговых цветов, и вскоре уже не брызги разлетались из-под копыт почтовых лошадей, а высевалась серая пыль. Так, меняя день на ночь и ночь на день, ехал я, пока вдали не показались горы.

В предгорье чуть не застрял – не оказалось сменных лошадей, но мне повезло: оглядев меня сумрачно, плотный, с темный жилистой шеей фельдъегерь взялся довезти меня до следующей станции. Жадно разглядывая приближающиеся горы, я стал расспрашивать фельдъегеря о Кавказе, но он отмалчивался, сидя рядом с ямщиком, и мне пришлось умерить свое любопытство, тем более, что тарантас невыразимо трясло на ухабистой дороге. Озабочивала меня пыль, все более густым слоем покрывавшая мой новенький мундир, но с этим приходилось мириться. Я глазел по сторонам, на узловатые грабы, огромные дубы, на никогда не виденные каштановые деревья. Что это именно каштаны, мне объяснил ямщик. Узкая каменистая дорога извивалась среди гор, и мне показалось тесно здесь. Потом я увидел далекую, сверкающую под солнцем снежную вершину. Въехали в темное, молчаливое ущелье. Ямщик остановил лошадей, слез, подвязал колокольчики, взгромоздился на облучок, и мы поехали дальше. Я спросил

у фельдъегеря, не грозит ли нам нападение, но он снова промолчал. В широкой спине его, в упорном нежелании разговаривать со мной таилось нечто загадочное, казалось, он знает, что-то, но не хочет мне открыться. Я забеспокоился, потрогал рукой рукоять сабли, зачем-то отстегнул, ее, потом снова пристегнул. Мой тяжелый револьвер Смита и Вессона лежал в саквояже. Недавно полученный в армии, он был оружием повторного действия, преломившись, заряжался с казны шестью патронами. Я очень им гордился, но через несколько дней после прибытия в полк, в порыве глупой щедрости, преподнес его командиру батальона, Я подосадовал, что не достал заранее револьвер из саквояжа, в случае нападения он весьма пригодился бы. Поглядывая на сырой, густой лес, я вспоминал то Амалат-бека, то Измаил-бея, воображал, что вот раздадутся выстрелы, из-за деревьев с диким визгом выскочат черкесы, я спрыгну и примусь рубиться. Черкесы в испуге скроются, повернувшись к тарантасу, я найду его пустым, из кустов выберутся бледные, трясущиеся фельдъегерь и ямщик. «Не велите казнить, ваше благородие, больно мы испужались, а вы-то, оказывается, смельчак, ишь, целую шайку разогнали».

От бесконечной тряски меня замутило, я, перестав смотреть на лес, погрузился в дремотное оцепенение. Вдруг раздался треск, похожий на выстрел, меня подбросило, я, тараща глаза и ничего толком не различая, соскочил на дорогу, упал, лошади заржали, и я, пытаясь выдернуть саблю из ножен, опрометью побежал к ближайшим кустам, тщась понять, кто и откуда на нас нападает.

– Куда вы, вашбродь? – крикнул ямщик.

Я повернулся, посмотрел внимательно на кренившийся тарантас и разглядел, что с передней оси соскочило колесо. От стыда кровь ударила мне в голову.

– Живот схватило, – неловко объяснил я. – Сейчас...

Зайдя за деревья, я долго, пока меня снова не окликнули, простоял под дубом. Вернувшись к тарантасу, старался не смотреть на фельдъегеря и ямщика. Если б я увидел на лицах их усмешку, мне, чтобы избавиться от позора, оставалось только застрелиться.

Когда приехал на станцию, я услышал из разговоров, что на

перевале действительно пошаливают абреки – ямщик подвязал колокольчики отнюдь не для того, чтобы попугать меня.

По прибытии на место получил в штабе полка назначение. О службе субалтерном полуроты, а затем ротным рассказывать подробно не стану. Из всякого рода воспоминаний, помещенных в «Военном сборнике», повседневная армейская служба достаточно хорошо известна. Обрисую в общих чертах лишь то, что было в моей собственной жизни наиболее примечательным.

Первые месяцы я наслаждался всем, всему радовался. И не только потому, что служба была внове, но и по причине моей молодости. Щенку нравится все окружающее. Отрадно было ощущать собственное здоровье и силу, бодрое расположение духа, нравились запахи кожи, махорки, смазанных дегтем солдатских сапог, конского навоза, нравилось наблюдать за поздним, из-за гор, восходом солнца, задрав голову изучать крупные яркие звезды. И люди меня окружали такие славные, такие хорошие! Я не уставал любоваться офицерским Георгием, который красовался на могучей груди командира батальона – майора Офрейна, усатого, с сизым носом, с прожилками на одутловатых щеках и пристальными свиными глазками. Ругался он, как с восхищением определял наш фельдфебель, по-боцмански и я мечтал уметь изъясняться по-матушке так же замысловато, ходить с такой же развалкой, приобрести столь же сизый нос и, более всего, разумеется, получить георгиевский крест. Ради креста я тогда без раздумий пожертвовал бы даже рукой или ногой. Стремясь поскорее отличиться, да еще помня свой испуг на перевале, – а я весьма переживал, что о моей трусости станет случайно известно, – я постоянно просился в дело, ходил вместо унтер-офицера, хотя это вовсе не требовалось, в залог, располагался вместе с солдатами в яме, за засеками из хвороста и все ждал, не мог дождаться, когда абреки нападут на нас и я смогу своей шашкой, которую фельдфебель навострил, как бритву, снести чью-нибудь голову.

Поначалу мне не везло. Никак не удавалось окреститься в бою. Вечерами мы собирались, пили при синем свете горящего спирта жженку и поздравляли смельчаков, ловко разрубивших противнику плечо или всадивших пулю в самую его голову. Я же

все не попадал в удальцы. Но пришла и моя пора. Я увидел лежащего на траве человека в изодранной одежде, с бритой головой, – папаха слетела с нее и валялась тут же, – с черными, быстро тускнеющими и страшно спокойными глазами. Упал человек этот от моей пули, и я от страха, ужаса и ярости ударил его несколько раз, уже лежавшего, саблей в живот, и из прорезей на ноги ему и на траву вывалилось что-то слизистое, округлое и дымящееся – так пар поднимается от теплой воды. Я вдруг понял, что это кишки, и, попятившись от умирающего, наскочил на унтера. Он проговорил не то с одобрением, не то упреком:

– Эк вы его!

Меня затошнило. Унтер поддержал мне, как маленькому, голову.

– Ничего, вашбродь, – успокаивал он меня,– ничего, попервой всегда так.

Вечером, поздравляя меня с боевым крещением, офицеры выпили рому. Я был пьян, смеялся без удержу, до икоты, лез ко всем целоваться. А потом мы сели за карты, и я проиграл пятьдесят рублей и еще семьдесят пять под честное слово. На другой день мы, спросив разрешения ротного, съездили в ближайшую станицу, накупили вина и конфет и загуляли у какой-то бабы. Она созвала товарок – жен взятых по жребию на службу казаков, и когда я проснулся, нос мой был уперт в пухлую женскую грудь с длинным соском. При прощании казачка эта под общий смех объявила, что я сонная тетеря.

Служба продолжалась. Горец, которого я убил своей рукой, оказался первой и последней моей жертвой. Не потому, что я к тому не стремился более, а так уж сложились обстоятельства.

После пленения Шамиля в основном закончилась война на Восточном Кавказе, до конца 1861 года происходили лишь небольшие бои в Дагестане и Чечне. Наше командование готовилось к решительному на наступлению в Закубанском крае с тем, чтобы потом, в следующие годы, приступить к переселению горцев на северном склоне Главного Кавказского хребта и племен, живших по побережью Черного моря. Сразу же объясняю для неосведомленных, что черкесы состояли из нескольких племен: шапсугов,

жанеевцев, бжедугов, натухайцев, кабардинцев, темиргоевцев, абадзехов, убыхов и других. До недавнего времени самым многочисленным черкесским племенем были шапсуги, теперь их почти не осталось, не осталось, скорее всего, и убыхов.

Как известно, Ермолов создал, а Барятинский возобновил и развил именно ту беспощадную варварскую систему, которая в пересказе старого унтера Тимофея Кузьмина показалась мне досужей выдумкой. Барятинский завоевал славу – недаром великий князь Михаил во время торжественного обеда по случаю окончания Кавказской войны 21 мая 1864 года провозгласил тост за генерала-фельдмаршала. Я лежал раненый, на шинели, проклиная все на свете, и слышал звучный голос его императорского высочества:

– За князя Барятинского, с назначением которого была принята система войны, принесшая такие блестящие результаты!

Послышались одобрительные возгласы генералов, пирующих в палатке, и аплодисменты, а у меня не было сил даже плюнуть.

Система заключалась в том, что мы прорубали просеки, занимали аулы, сжигали их и уничтожали сады и посевы. Все трофеи захватывались офицерами, само собой, соответственно чинам: штаб-офицерам доставалось поболе, обер-офицерам меньше. Разумеется, многое зависело и от собственной смекалки и сноровки.

Заняв аул, мы через толмача приказывали горцам переселяться на Кубанскую плоскость, на неплодородные земли, под присмотр наших гарнизонов, или уезжать в Турцию. В оставленные горцами места переселялись, несмотря на их противодействие, казаки. Не раз и не два они убегали, но мы настигали их и снова гнали обратно. Казаки с ненавистью смотрели на офицеров, матери и жены их честили нас почем зря, с вывертами, напоминающими высокий штиль Офрейна. Ни казаки, ни русские мужики переселяться на черкесские земли не хотели. Разговоры о том, что захватить Кавказ было мечтой русского народа, – гнусная ложь. Монархи всегда прикрывают свои гнусности ссылками на исполнение ими мечты и воли народа.

В том, что я рассказываю, нет ничего неизвестного, поэтому

задерживаться на общей картине нет смысла. Кстати, мне попадались военные рассказы отставного офицера, кажется, Толстого, в них весьма достоверно описаны и наша забубенная жизнь, и рубка леса.

Возвращаясь к князю Барятинскому, дозволю себе прибавить, что был он в некотором роде вторым Маккиавелли, во всяком случае, тоже считал: все, служащее целям политики, – хорошо, все, противоборствующее им, – дурно. Именно по идее Барятинского к службе в нашей армии стали приманиваться горские дворяне, совращенные златым тельцом, обещаниями земель, чинов и наград. В полку у нас воевали противу своего народа и черкесы – поручик Крымгиреев и прапорщик Батыев. Встречал я также в отряде кавказцев полковника Званбая, князей Цицианова и Бебутова, штаб-офицера Мустафу Араблинского. Немало было и других, преданно служивших нашему государю.

Однажды, полк наш действовал тогда со стороны рек Лабы и Белой, и я, отмеченный за свои старания, получил уже чин подпоручика, – мы после упорной перестрелки вошли в какой-то аул и велели солдатам взяться за топоры. Роте, в которой находился я, досталось вырубать сад на склоне горы. Ничего подобного я не видел, а может, до этого не присматривался: по склону шли террасы с рядами великолепно ухоженных виноградных лоз, в нижней части стояли среди вскопанных приствольных кругов грушевые, яблоневые, персиковые, черешневые, тутовые и алычовые деревья, росли барбарис, мушмула, еще какие-то незнакомые мне плодовые кустарники. К саду был проведен оросительный канал. Я прошел вдоль него, пока наши молодцы валили наземь деревья, – от сада до источника было около двух верст. Перешел на другой склон, где был посеян ячмень. Меня догнал фельдфебель Кожевников.

– Чего тебе? – спросил я.

– Да, так, – замялся он. – Нешто вам, вашбродь, не скушно одному-то? Да и наскочить, играючи, снова из лесу могут. Знаете ведь: абреки вырастают несеянными, пропадают нескошенными.

Костромич Кожевников дослуживал двадцать второй год, имел солдатского Георгия. Неторопливый, деловитый, он нес

службу так, как, должно быть, в молодости пахал, сеял. И там, дома, и здесь, повсюду он безропотно, с охотою трудился.

Фельдфебель стоял возле меня, щурился вылинявшими глазами на солнце и поглаживал бороду, которая начиналась у него от самых глаз. В том, как он всегда обращался со мной, было нечто отеческое. Старослужащие солдаты вообще относились к молодым офицерам, как пестуны к медвежатам, – и охраняли нас, и поучали, и ошибки наши, бывало, брали на себя. Умный командир всегда направлял прибывшего из кадетского корпуса прапорщика или юнкера в ту роту, где служили старые солдаты.

– Хорошество! сказал Кожевников, оглядывая окрестность. – Баско тут.

– Видел, – спросил я, – сад там какой?

Он кивнул и окинул взглядом ячменное поле, подпертое по низу оградой из камней.

– Башковитый народ, маракают. Они как... Подбирают землицу на пологом увале, пологом, чтобы почву водой не сносило. Собирают каменюки, сносят вниз и городят, потом пущают воду из ручья, ручей наносит песок, гравер всякий, и увал выравнивает. Затем ставят сюда скотину на ночь, на год, другой, навоз собирают. Напоследок привозят из долины черную землю, рассыпают и зачинают сеять. Глянется мне, когда так старательно робят. – Он хотел сказать еще что-то, но раздумал, вздохнул, вытащил кисет и принялся набивать махоркой коротенькую трубку-носогрейку.

Спустившись с горы, мы увидели солдат, окруживших невысокого, изможденного, по-видимому, больного черкеса. Солдаты оживленно что-то втолковывали ему.

– Эх, ты, говорил один, – ну чего вы сразу не сдались? А теперь вот что получилось, и ваших сколько полегло.

– Да что ты с него спрашиваешь? Нешто он за всех отвечать должон?

– Известно...

– Что известно? Глянь-ка, братцы, а он и вовсе босой.

– Дай я ему сапоги уважу. Мне будто тесноваты, а ему, как есть будут в плепорции. Хоть и не крещеный, а все, значит, человек.

– А у меня куртка есть важная, из старой шинели перешивал.

– Дай ему, построим ему одежу...

После боя солдаты наши становились сердобольными.

Как-то наш полк остановился подле очередного немирного аула. К сумеркам жители покинули его. В теплом воздухе запахло дымом костров – солдаты принялись готовить ужин. Кожевников угостил меня отменным медом, накачанным из плетеного улья. Вместо обычного рябка – моченых сухарей с салом, солдаты жарили на угольях шашлыки.

В ночной тьме откуда-то сверху раздался протяжный крик. Голос то смолкал, то снова оглашал распевными завываниями все окрест. Мы всполошились, унтер повел несколько солдат на голос. Послышался хохот. Оказалось, что в брошенном жителями ауле остался старик-муэдзин. То ли про него забыли, то ли сам он не пожелал уйти, и когда пришла пора ночной молитвы, старик полез на минарет. Как и большинство муэдзинов, он был слеп – слепому не увидеть сверху, что делается во дворах. Поточив лясы со стариком через толмача, мы отпустили его на все четыре стороны, но упрямец вновь забрался на минарет и долго, до сипоты пронзительно кричал. Толмач перевел нам его призывы:

– Аллах велик! Нет всевышнего, кроме аллаха!.. Идите на молитву, идите ко спасению!.. Аллах превелик! Нет всевышнего, кроме аллаха…

Почему-то мне грустно стало от надтреснутого старческого голоса, тщетно взывавшего к ушедшим отсюда людям. Раздумья охватили меня.

Во время попойки я, вспомнив вырубленные за день сады, высказал недоумение нашими бессмысленными действиями.

– Не понимаю, господа, сказал я, разгоряченный вином, – с какой целью мы уничтожаем сады и пашни? Не полезнее было бы сохранять их и нетронутыми передавать казакам?

Командир наш Офрейн, принявший участие в пирушке молодых офицеров, а поступал он так, когда заканчивались его винные припасы, уставился на меня своими неподвижными свиными глазками.

– Замечаю в вас, подпоручик, отсутствие воинской сообразительности, а пора бы уже... Намотайте на свой жиденький ус ни-

жеследующее: командование не глупее вас. Ежели мы оставляли бы насаждения и жилища горцев нетронутыми, у них было бы желание и возможность вернуться, теперь же, чтобы не умереть с голоду, им приходится подчиняться нашим требованиям и уходить.

– Поистине гениальная тактика! – громко заявил поручик Попов-Азотов. – Славься, славься, наш русский царь! Уверен, что после окончания войны в здешних местах, на какой-нибудь горе Ермолову и Барятинскому установят памятник из базальта в форме большого топора и надписью: «Великим дровосекам».

Слова его, при всей их справедливости, меня покоробили. Офрейн, не поняв, одобрительно прорычал:

– Отлично, поручик!

Вынужден ненадолго отклониться, дабы обрисовать личность Попова-Азотова и заодно другого ротного, поручика Гайворонского, сидевшего рядом со мной.

Попов-Азотов был человек неулыбчивый, на скуластом лице его холодно светились серые глаза, нижняя челюсть чуть выдавалась вперед, и когда он говорил, обнажались белые зубы, наверху и внизу разделенные промежутком, вроде темной щели. На груди его болтались два Георгия – солдатский и офицерский. Мне передавали, когда я еще только прибыл в полк, что Попов-Азотов был разжалован за дуэль, но отличился под Веденем и вновь дослужился до офицера. Дружбы ни с кем не водил, в карты играл редко и пил чаще в одиночку. В разговорах поручик отличался язвительностью, и речи его всегда носили странную раздвоенность – серьезность тона словно бы размывалась скрытой иронией. Мне почему-то казалось, что он всех нас тайно презирает. Солдаты его любили.

Поручик Гайворонский, смуглый, черноглазый, полноватый, по первому знакомству казался добродушным увальнем. На самом деле это был старательный, пригодливый служака, твердо, как о нем метко выразился Попов-Азотов, колебавшийся вместе со сменой старших. Мне рассказывали, что до Офрейна у нас был выслужившийся из солдат либерал. Гайворонский при нем внешне заботился о нижних чинах, вспоминал о том, что кто-то

из предков его был не то мастеровым, не то даже крепостным. С прибытием к нам Офрейна Гайворонский стал ссылаться на свое происхождение от запорожских сечевиков с одной стороны, а с другой – от лиц духовного звания. Мне он рассказывал, что дворянский род его внесен в родословную книгу Полтавской губернии. Солдат, в мою бытность в полку, Гайворонский, подражая Офрейну, крыл последними словами и щедро раздавал им по мордасам. Об остальных офицерах, моих сослуживцах, рассказывать не стоит – в них было больше схожести, нежели различия.

Вернусь теперь к происшедшему.

Мы много пили, особенно Попов-Азотов. Опьянение его выражалось лишь в том, что он много говорил.

– Скажите, господа, неожиданно спросил он, – не кажется ли вам странным, что мы так расположены к Гарибальди?

– Не знаю такого, – пробасил Офрейн.

– Генуэзец один, моряк, республиканец, участник заговора Медзини, – небрежно объяснил Попов-Азотов, – великолепно сражался против австрийцев, потом в Южной Америке на стороне республики Рио-Гранде и Монтевидео. Вернувшись в Европу, он не столь давно разбил войска неаполитанского генерала Ланди.

– Не понимаю, почему вы вдруг заговорили о каком-то республиканце? – спросил Офрейн.

– Мне кажется удивительным, что правительству нашему Гарибальди по душе: ведь ежели бы он попал к нам, то обязательно сражался бы на стороне горцев.

Удивленный познаниями Попова-Азотова, я сказал:

– Мы одобряем Гарибальди, поскольку он воюет против австрийцев.

– Верно. И вздернули бы, попадись он нам в руки на Кавказе.

Попов-Азотов едко рассмеялся.

Офрейн заметил, что не пройдет и двух-трех лет, как война будет закончена.

– Грустно слышать такое, – лихо заявил Гайворонский. – Чем и как после войны будем жить мы, кадра, фрунтовые офицеры?

Попов-Азотов опорожнил кружку с вином, облизнул губы и сказал:

– Рекомендовал бы вам отправиться в Северные Американские Штаты, там вас, как опытного командира, отличившегося в лихих атаках и победных сражениях, охотно примут в войска, сражающиеся против президента Линкольна.

Смысл сказанного им ускользнул от офицеров. Я же удивлялся все более. До сих пор был убежден, что я один из немногих в полку и, уж во всяком случае, единственный в роте, кто выписывает газеты и журналы. Гайворонский и некоторые другие офицеры насмешничали из-за этого надо мной, и я стал скрывать от всех свою любовь к чтению.

– Впрочем, – продолжал Попов-Азотов, – вам, поручик, карьера обеспечена и здесь, но при одном условии. Вам следует подать рапорт на высочайшее имя и попросить дозволения отбросить частицу «гай». От нее слишком несет Малороссией.

– Сударь! – Гайворонский позеленел. – Мои предки…

Попов-Азотов не дал ему говорить, обратившись к Офрейну:

– Вы человек осведомленный, много ли вы знаете случаев, когда по службе легко продвигались офицеры с польскими или малороссийскими фамилиями?

– Разумеется, нет, – уверенно ответил Офрейн, – исключения, конечно, бывают, но государь, как вы знаете...

– Слышите? спросил Попов-Азотов у Гайворонского. – Это веление рока. В самих фамилиях наших заложено наше будущее. – Он повернулся к майору – Возьмем вашу. Оф-рейн! Что мы видим за этими звуками? Пунктуальность, хладнокровие в стрельбе, склонность к ношению мундира с генеральскими эполетами.

Глазки майора заблестели.

– Браво! Сегодня вы мне положительно нравитесь.

Попов-Азотов усмехнулся и посмотрел на меня.

– Кай-са-ров! – проскандировал он. – Идущее от татарских мурз преклонение перед монархом, готовность стать во фрунт и броситься с криком «За царя и отечество» на врагов внешних и внутренних.

Я растерялся, не зная, как быть. Яд, которым полнились слова поручика, подействовал на меня, как пощечина, хотя, повторяю, то, что он говорил, в общем-то, было справедливо. Другие офице-

ры примолкли. Запахло ссорой.

– А вы, а ваша фамилия? – только и нашелся что сказать я.

– На Поповых и Ивановых стоит Россия! – не задумываясь, ответил он и снова усмехнулся. – Даже накуролесившего Попова не заподозрят в предосудительных мыслях. Если шкодит свой брат русский или наш друг немец – это заблуждение молодости. А вот если ни в чем не замечен какой-нибудь Мицкевич или, тем более, Ицикович, эт-то подозрительно. Почему не шкодит? Ведь должен, от рождения, по фамилии своей, можно сказать, к этому предназначен. Зажать такого, не давать ему ходу. В позиции сей заключена глубокая государственная мудрость. Аминь! Выпьем, господа, за государственную мудрость и за светлый ум его императорского величества!

Все встали.

Я замедлился. Противоборствующие чувства одолевали меня. С одной стороны, я ощущал себя оскорбленным, с другой – некоторые высказывания Попова-Азотова находили во мне если не сочувствие, то интерес или, как говорят музыканты, резонанс. Однако последние слова поручика вывели меня из раздвоенности. Можно ли было в присутствии всех нас с такой издевкой говорить о помазаннике божьем, за здравие которого мы всегда пили с превеликим уважением и душевным трепетом?! Не столь осознанно, сколь интуитивно я опередил других, – многие готовы были уже сцепиться с поручиком, – кинулся на него, обвиняя в оскорблении величества. Попов-Азотов отшвырнул меня ударом кулака. Кто-то крикнул:

– Дуэль!

– Да, да, дуэль, непременно дуэль! – со слезами на глазах кричал я.

Офрейн зарычал на нас, приказал разойтись и явиться к нему поутру. Гайворонский проводил меня, на прощание он сказал:

– Мы все на вашей стороне. Надеюсь, вы не пойдете на примирение!

– Ни в коем случае! – заверил я.

– Вы хорошо фехтуете? Не соглашайтесь на пистолеты, поручик попадает пулей в летящую ласточку.

Первый, кого я увидел, проснувшись, был Попов-Азотов. Он сидел на табурете и смотрел на меня с жалостью.

– Доброе утро, Кайсаров. Выслушайте меня без раздражения. Надеюсь, хмель уже выветрился из вашей головы?

Я кивнул. Помнит ли он, что говорил?

– Если вы скажете Офрейну, что берете назад свое обвинение, я откажусь от дуэли, я не хочу вас убивать, кажется, вы единственный сын у матери...

Я не узнавал поручика, всегда такого ершистого и злого, поддался было внутренне его тону, но преодолел себя. Пойти навстречу ему означало расписаться перед собой в собственной низости, о которой он вряд ли догадывался. И мальчишеское понятие об офицерской чести крепко владело мною. А что подумают обо мне однополчане? Я заявил голосом, мне самому показавшимся схожим с голосом Гайворонского:

– Взять свои слова назад должны вы, господин поручик, вы нанесли оскорбление государю.

Он вдруг озорно улыбнулся.

– А вам не кажется, что цезарь должен быть вне подозрения?

Я смутился.

– Взять свои слова обратно я не могу, – стал объяснять он, – фактически мною был лишь предложен тост за царя. Если же я принесу извинения... Понимаете? Суд чести все равно потребует удалить меня из армии, а у меня есть причины не желать этого.

– Вы оскорбили лично меня, – упрямо заявил я. – Могу доложить Офрейну именно так.

Он был не похож на себя. Скуластое лицо его вытянулось, глаза были задумчивы и печальны.

– Что ж, пусть так. Значит, все-таки дуэль?

Мне снова припомнился Гайворонский, его совет биться на саблях. Неужели у кого-нибудь из нас, у Попова-Азотова, или, не дай бог, у меня, будут так же, как у того горца вываливаться наружу кишки? Ощутив, как у меня захолодели ноги, дрожащим голосом подтвердил:

– Непременно!

– Воля ваша. Тогда... Примите другое мое предложение: явив-

шись к Офрейну, мы заявим, что недоразумение улажено, а между собой договоримся на кавказскую дуэль. Как вы на это смотрите?

Кавказская дуэль заключалась в том, что вызвавшие друг друга офицеры, когда начинался обстрел со стороны горцев, вставали во весь рост и вместе, рядом, шли навстречу пулям, отдаваясь на волю судьбы.

У меня словно камень с души свалился.

– Согласен! Скажите, господин поручик, вы на самом деле думаете то, что вчера?..

Я не договорил, но он, конечно, понял, лицо его стало обычным, челюсть выдвинулась, забелели под усами зубы.

– Вам-то что до этого?

– Вы же глумились над всем, над нами, даже, если на то пошло, над самим собой...

Он внимательно поглядел на меня.

– Думаю, вы не для того, чтобы доложить. Да, глумился, зря только при всех, они никогда ничего не поймут. Честь имею, буду ждать вас у командира.

Мы сообщили Офрейну о своем примирении. Затем нас пригласили на офицерский суд чести, приняли наши объяснения и одобрили выбор дуэли.

Две недели спустя произошла стычка с горцами. Я стал отыскивать Попова-Азотова. Он уже шел навстречу. Трусил я отчаянно, но старался не распускаться.

– Сможете дотащить меня обратно? – спросил поручик. Лицо его было серьезно, он не шутил. Какая же пакость человек! Ведь я обрадовался его вопросу. Все же мне удалось выдавить:

– А, может, вы меня?..

– Увидите, – уверенно произнес он. – Что ж, пошли?

Через полчаса я волок его тело к нашей позиции. Горцы выстрелили всего лишь раз, вероятно, они целили по георгиевским крестам на груди поручика. Пуля попала в солнечное сплетение и прошла наискось к левой лопатке. Перед смертью Попов-Азотов пробормотал:

– Мерзость... Все мерзость...

За ужином выпили за мое здоровье и за упокой души Попова.

– Бесстрашный все-таки был человек, надо хоть в этом отдать ему должное, – заметил Гайворонский, – а вам, подпоручик, я предсказываю отличное будущее.

На душе у меня было скверно. Хотелось плакать. Я жалел Попова-Азотова, он казался мне теперь лучшим из всех. Сойдясь раньше, мы, возможно, стали бы друзьями.

Гайворонский снова брякнул что-то несусветное о покойном, принялся краснобайничать, и в груди моей стало жечь.

– Вот вы говорите так о поручике, – спокойно (почему-то я очень спокоен был в эту минуту) сказал я. – А если б вам самому довелось!.. Хотите, оскорблю вас?

Округлое лицо Гайворонского превратилось в желе, он встал, уронил табурет, пробормотал:

– Неуместные шутки. Прошу прощения, господа, мне на дежурство.

И вышел, почти выбежал.

Я окинул взглядом офицеров – с кем бы еще схлестнуться? Они поотворачивались или опустили головы.

Похоронили мы Попова-Азотова под одинокой яблоней, возле мирно журчащего ручья. Я, не знаю уж почему, задумался не о нем, а о том молодом горце, которого убил. Впервые подумал я, что горец был убит возле своего дома. Простая мысль эта словно придавила меня. Жил он себе, со своей семьей, матерью, отцом, детьми, а потом пришел откуда-то я, именно я, и убил его. Снова взор его мне представился – спокойный, отрешенный от всего. Глаза Попова-Азотова при последнем издыхании выражали полнейшее ко всему отвращение...

С того времени со мной стало что-то происходить, я словно переступил внутри себя через невидимый порог, отделяющий мою прежнюю жизнь от сегодняшней. Суть перемены понять было невозможно. Я много думал, но как-то нёопределенно, расплывчато – то мысленно плавал на Протве за чилимом, то вспоминал черноглазую горничную, которую видел несколько раз на крыльце дома возле кадетского корпуса и в воображении гулял

с нею по Пскову, размышлял о Попове-Азотове – можно ли считать, что я причастен к его смерти? Ведь убить могли и меня, и нас обоих. А ежели бы я отказался от дуэли, одновременно со мной следовало бы отказаться и ему. Оба мы жили по одним понятиям, по общим для всех нас писаным и неписаным правилам, следовательно, грех за смерть поручика не лежит на мне. Я успокаивал себя, но легче от этого не становилось. К службе я все более терял интерес и к разговорам о том, что нас, в том числе и меня, представили к наградам, остался равнодушен. Что толку от креста? У Попова-Азотова было два Георгия, какой в том смысл? Я надумал было оставить строй, заговорил с Офрейном о том, что меня тянет к штабной службе. Он прорычал:

– Глупости!

И все осталось по-прежнему.

К Попову-Азотову я не раз возвращался в своих размышлениях. По какой причине он так держался за армию, для меня осталось невыясненным. Родных, близких Попов-Азотов не имел, поэтому с разрешения Офрейна я взял себе оставшуюся после поручика библиотеку, в ней насчитывалось десятка два книг, столько же старых журналов и несколько кип газет, в их числе европейских, пожелтевших, весьма почтенной давности. Я искал записей, заметок на полях, но ничего не обнаружил.

Многое из того, что так нравилось мне в начале службы, виделось теперь в другом свете. Я уже знал, что батальонный Офрейн осторожно присваивает часть провизионных денег. Здесь, в Сибири, прочитал я в «Военном сборнике», что в 1864 году высочайшим указом было повелено избирать артельщика из унтер-офицеров или старослужащих солдат, им теперь стали вручаться деньги на приобретение провизии. Представляю, до чего дошло среди офицерства воровство, если высочайшим указом ведать провиантскими средствами разрешили самим нижним чинам. Для меня теперь не было тайной, что поручик Маслов – шулер, а штабс-капитан Мордюков, уже подозревавшийся ранее в краже казенных денег, отличается более других в мародерстве, что у хлыща с влажными глазами и рыжеватыми усиками, бывшего гвардейца подпоручика Гнедовского амуры с супругой полков-

ника. От приобретенных познаний веселее мне не становилось. Теперь удивляюсь, почему и я не стал таким же армейским бурбоном? То ли бог предохранил, то ли книги помогли.

Я или валялся на бурке у костра, или ездил верхом. Иногда безо всякой причины подумывал – а не застрелиться ли мне? Думал о самоубийстве вяло, без твердого намерения. Так спрашивают себя: не выпить ли квасу? Почему бы не выпить, если имеется, но вставать, идти за кружкой, то бишь заряжать пистолет… Ну его! Оглядываюсь на те годы, вспоминаю, что случаи самоубийства у нас бывали. Объяснялись они обычно проигрышем в карты, не отомщенным оскорблением, зеленым змием. Хочется уверить себя, что к этому были другие, более глубокие причины.

Верховой ездой, лошадьми я увлекся сильно. Лошади удивительно благородные и верные животные, в этом их сродство с собаками. Попервой у меня была обычная, как я подозревал, обозная, не кавалерийская лошадь, к которой я не испытывал никаких чувств, подобно тому, как не ощущаешь симпатий или антипатий к тарантасу либо телеге. Следуя примеру других офицеров, я сразу же стал собирать средства на приобретение своего коня. Свой собственный конь был хорошим тоном и, поскольку разбираться в лошадях тоже было одним из достоинств кавказского офицера, я, освоившись в полку, много толковал с завзятыми лошадниками, с фельдфебелем Кожевниковым, понимающим толк в здешних конях. Он-то и помог мне, было это уже после гибели Попова, приобрести такого кабардинца, что все только ахнули. Кабардинца продавал старик черкес, конь захромал, а старик спешил. Держа хромого, надо думать, засеченного коня на поводу, он что-то объяснял Кожевникову, не моргая, поглядывал на солнце и показывал рукой на запад. Я догадывался – он торопился к морю, в Ейск или в Анапу, дабы уехать на кочерме в Турцию. Лицо старика опушивала седая бородка, глаза глядели спокойно. Кого-то он напоминал мне, Господи!.. Я чуть не отшатнулся.

Бывают воспоминания раннего детства, остающиеся, как говорят, до самой старости. Таким, самым глубоким, был для меня следующий случай: лет трех или пяти, весной, я вышел из парка и, с любопытством разглядывая все окрест, дошел до пахотного

поля. Притомившиеся мужики сидели у межи. Один из них, седобородый, с темными глазами, поднялся, шагнул ко мне и с возгласом: «А-а, барчук!» схватил меня и поднял. Вижу отчетливо его грудь, за расстегнутым воротом, ниже загорелой шеи, под бородой, она была белой, и волоски на ней тоже были белые. От него крепко пекло потом. Во рту не хватало впереди двух зубов. Мозолистые ладони сдавили мне бока. Я истошно закричал от страха, забился, он отпустил меня, и я кинулся бежать. Оглянувшись, – не преследует ли старик, – увидел глаза его – в них были страдание, укор, обида... Ночью он приснился мне, я заорал, проснулся, нянька тоже вскочила, принялась успокаивать меня. Я ничего не сказал ей, потому что, проснувшись, вспоминал уже только укоризненный, страдальческий взгляд мужика и мучался от стыда. Того мужика я видел во сне не единожды, каждый раз кричал от испуга, а потом мучительно стыдился. Мать и няня решили, что я заболел. На меня и с уголька сбрызгивали, и к доктору возили... Старик-черкес походил на того мужика. Мне неприятно стало смотреть на него. Я отвернулся, сказав, что не буду брать коня.

Но Кожевников пристал, как банный лист, уверяя, что лошади цены нет и что он ее за два дня выходит. Как потом выяснилось, конь стоил не менее двухста рублей. Я отдал за него пять. Старик, глядя на коня и показывая на его больную ногу, что-то снова втолковывал Кожевникову, тот кивал, улыбаясь. Старик ушел. Конь стал рваться из наших рук, лягаться и призывно ржать. Мы еле его удержали. Мне он чуть не прокусил руку. Поглядев вслед старику, я вновь, как в детстве, застыдился, но утешил себя обычными в таких случаях рассуждениями: не я, так другой и тому подобное...

У меня теперь появилась забота. Кожевников лечил коню ногу, смазывал ее какой-то мазью, обмывал теплой водой, а я приучал коня к себе, носил ему сахар, разговаривал с ним, поглаживая по шее. Потом, когда хромота у коня прошла, я сам, не доверяясь никому, стал купать его, обтирал руками, массировал тело, потом обливал холодной водой, чтобы он укреплялся. Коня звали Джбга, что, как мне перевели, значило ветер. Я, не умея выговаривать кличку, звал коня Джубгой. Круп и холка у Джубги

были на одной высоте, плечи и грудь сильные, мускулистые, ноги и голова сухие, глаза буквально горели, что являлось признаком породы и здоровья.

Когда познания мои в коневодстве немного пополнились, я узнал, что мой Джубга был кабардинской породы «щагди», считающейся у черкесов лучшей. Он был ниже ростом очень красивого адыгского «жирашти», но менее трясок и очень вынослив, мог почти без корма нести всадника хоть десять дней.

Пил Джубга мало, и это меня встревожило, прежняя моя кобыла выдувала за раз чуть ли не два ведра. Однако оказалось, что породистые горские скакуны обходятся небольшим количеством воды.

Освободившись от службы, я шел к коновязи. Джубга издали приветствовал меня звонким ржанием, с нетерпение перебирал ногами, косил своим огненным глазом. Получив свой кусочек рафинаду, он принимался баловаться, фыркал мне в лицо, притворно покусывал за плечо или за руку. Я так же притворно сердился, взнуздывал его, седлал черкесским седлом с высокими луками и видел, как от нетерпения шелковистая кожа на коне вся играет и вздрагивает. Я садился, и он нес меня от бивака, выгнув шею и распустив хвост. Нас провожали завистливыми взглядами. В шпорах и плети Джубга, как и все черкесские лошади, не нуждался, я запросто обходился шенкелями.

В течение получаса воли Джубге не давал, сдерживал его, заставлял идти шагом, потом отпускал поводья, и мы в восторге летели по лугам, возносились на кручи, мчались под уклон, все более и более радуясь своей вольной скачке, сменяя рысь на галоп и снова на рысь. В такие часы я бывал почти счастлив. Иногда терял дорогу, но, не тревожась, бросал поводья на шею коня, и он вез меня к дому. Бывало, возвращались мы поздно вечером, мне выговаривали за опоздание, Кожевников ворчал в бороду, но я никого не слушал. Черкесы редко стреляли по лошадям, а за себя я не боялся. Почему-то казалось, что в степном или лесном мире, напоенном запахом цветов, безмятежно спокойном, мирном, с которым я и конь словно бы сливались, ничего худого случиться не может. «А если вдруг, – не веря себе, рассуждал я, – Джубга

раненым или мертвым, но доставит меня обратно».

Тут к нам в полк проездом прибыли главнокомандующий князь Барятинский и генерал граф Евдокимов. Князя Барятинского, как известно, вскоре сменил на посту главнокомандующего новый наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич. Суть такого назначения, хотя и объяснялось оно болезнью Барятинского, понятна была – до конца войны оставалось не столь уж много, и его императорское высочество жаждал быть увенчанным лавровым венком покорителя Кавказа.

Началась обычная предсмотровая суета. Балаганы и палатки приводились в порядок, обмундирование спешно стиралось, латалось, штопалось, сапоги, пришедшие в негодность, заменялись более целыми, солдаты протирали и смазывали оружие, раздавались окрики и оплеухи, штабс-капитана Мордюкова сгоняли в провиантство за шампанским, повара резали, жарили, парили. Наконец полк был построен. Часа через два прискакали дозорные, загодя выставленные на дороге. Едут!

Топот копыт, блеск эполет, аксельбантов, орденов.

– Полк, смирно-о! На кра-ул!

Осмотр, опрос претензий, – претензий, разумеется, нет, об этом позаботились фельдфебели, которые вчера, ласково показывая свой увесистый кулак, потолковали с наиболее «вонючими» солдатами, – короткие, прочувственные слова Евдокимова:

– Моя седая голова низко склоняется перед вами, молодцы!

Все взволнованы, горды, все дружно раскатисто кричат «ура». Почему-то мне вспоминается, что «ура» в переводе с татарского «бей». Так мне, во всяком случае, говорили.

Кумир офицеров, герой Дарго, Гергебиля и Польши генерал-фельдмаршал князь Барятинский сообщает, что доложит о прекрасном состоянии полка его императорскому величеству. Снова «ура». У многих на глазах слезы.

Бьют барабаны и мы проходим церемониальным маршем. Я еду впереди солдат на своем Джубге, он горячится, всхрапывает, гарцует подо мной. Подняв руку к козырьку фуражки, повернув голову налево, замечаю, что граф Евдокимов показывает на меня князю Барятинскому, вернее, не на меня, а на Джубгу. Замечают

это и другие, и после церемониала Гайворонский с досадой говорит мне:

– Везет же вам, Кайсаров, обратили на себя внимание самого генерала-фельдмаршала.

Мне весело. Приятно все же, черт возьми, быть примеченным! Отвожу Джубгу к коновязи и преподношу ему сахар.

Под вечер, когда я валяюсь на бурке, прибегает запаренный Офрейн и с одышкой говорит, чтобы я привел себя в порядок, меня требует к себе сам главнокомандующий. Вскакиваю в растерянности.

– Вы уж не подведите меня, голубчик,– умоляет Офрейн, вразвалку шагая рядом,– держитесь молодцом и, ради всего святого, не сболтните ничего лишнего.

Он вталкивает меня в балаган. Пышно накрытый стол. Во главе – Барятинский и Евдокимов. Офицеры свиты и наши полковые старшие офицеры улыбаются мне по-родственному. Робость сковывает меня, под коленкой вздрагивает какая-то жилка, на лице, сам чувствую это, расплывается восторженная улыбка. Прерывистым голосом, в горле спазмы, докладываю о своем прибытии. Собственная угодливость и растерянность претят мне, но я ничего не могу с собой поделать, Будь я штатским, спина моя, наверное, согнулась бы в низком поклоне.

– Поближе, пор-ручик,– по-гвардейски грассируя, произносит генерал-фельдмаршал и манит меня пальцем.

Поручик? Он ошибся. Могу ли, имею ли я право поправить князя? Начальству на ошибки и оговорки не указывают. Я молча подхожу. И Барятинский, и Евдокимов поворачиваются. Евдокимов что-то говорит. Я рассматриваю никогда не виденную звезду ордена святого Андрея Первозванного с мечами на груди Барятинского, поднимаю глаза на энергичное, с чуть запавшими щеками моложавое лицо князя. В нем чувствуется порода, властность и, одновременно, удаль бывалого солдата. Скорее угадываю, чем разбираю из слов графа Евдокимова, что командир полка весьма одобрительно отозвался обо мне и главнокомандующий распорядился представить меня к очередному чину. Но я только без году неделя, как стал подпоручиком. Возможно ли?..

– Пор-ручик, – слышу я голос князя,– хотите быть моим кунаком? Давайте обменяемся конями.

Одобрительный гул среди офицеров. Ловлю завистливые взгляды – так начинаются порой головокружительные карьеры. На лбу моем проступает пот. Я молчу, непростительно долго молчу, снова старательно изучая звезду ордена Андрея Первозванного. Спасает положение Евдокимов. Громко, по-солдатски расхохотавшись, он кричит:

– От двойной такой радости не мудрено прийти в смущение. Хвалю! В бою – орел, дома красна девица! Ваше здоровье, поручик.

Кто-то протягивает мне бокал с шампанским, я бормочу жалкие благодарственные слова, топчусь, не догадываюсь удалиться. Меня тянут сзади за рукав, и я, наконец, покидаю балаган – не поворачиваясь, пятясь задом, как гаремная наложница.

Офрейн стискивает меня в объятиях.

Не стоит рассказывать о моем расставании с Джубгой, другом, которого я предал. На коня, оставленного князем Барятинским, мне и смотреть не хотелось. Месяц спустя я уступил его по дешевке одному из штабных офицеров, что вызвало недоумение и осуждение моих сослуживцев. Сказавшись больным, я подал рапорт об отпуске, однако командир полка отказал мне, как я подозревал, по наущению Офрейна.

Пустота, образовавшаяся вокруг меня, вызывалась и моей, после дуэли с Поповым-Азотовым, репутацией бретера, и историей с князем Барятинским, не столь связанной с Джубгой, сколь с неожиданным для всех моим повышением в чине, тем, что я чурался теперь общества, упорно отказываясь от приглашения раскинуть картишки и хлебнуть рому, и даже не всем этим вместе взятым, сколько тем, что поведение мое было непонятным, а на Руси ничто не вызывает такого отчуждения, как непонятное поведение человека. Он становится чужим, к чужим же у нас, как известно, относятся подозрительно, с предубеждением.

Как-то я вызвался отвезти пакет в отряд. Затем еще. Вне полка мне дышалось легче. Наверное и других устраивало реже видеть мою физиономию, потому что постепенно все поручения, квартирмейстерские и прочие, стали возлагаться главным образом на меня. Ездил я один, без сопровождения солдат, и несколько раз меня обстреляли, даже легко ранили в плечо.

В штабе полковника Геймана, – вскоре он стал генералом, – я познакомился с приехавшим по каким-то своим делам капитаном Закурдаевым, добродушным старым служакой, командиром поста на берегу моря, откуда черкесы отъезжали в Турцию. Закурдаев, как я догадывался, такой же одинокий человек, предложил погостить у него денек, другой. Кто мог предположить, что в минуту сию решалась моя судьба?

Я с равнодушием посмотрел на продубленное солнцем и непогодой, коричневое лицо старика. Волосы с суворовским хохолком, усы и бакенбарды давно поседели, нося серый оттенок, а брови оставались темными. Кого-то он очень напоминал мне, но кого именно, я никак не мог уразуметь. Возвращаться в полк я не спешил, но и трястись до вечера в бричке, чтобы провести день на забытом богом посту, мне тоже не хотелось. Капитан погрустнел, потер пальцами нос, нащупав волосок, привычно выдернул его и, вздохнув, спросил:

– Не изволите, значит?

– Поедем, – сжалившись, согласился я.– Выпить у вас чего-нибудь, кроме бузы, найдется?

Закурдаев просиял, вскочил и стал пожимать мне руку, приговаривая:

– И ром! Настоящий, ямайский! И мадера есть, у турок выменял, кахетинским угощу вас, сударь. Значит, в путь-дорожку?

Дорога оказалась не особо тряской, бричка была выложена сеном, и мы, полулежа, то подремывали, то неторопливо беседовали. Спросив о моем имени, Закурдаев стал называть меня Яковом, а то и просто Яшей, а себя попросил именовать безо всякого чинопочитания Афанасием Игнатьевичем. Старик оказался не глуп, за долгую кочевую жизнь многого нахватался, и я не скучал, тем более, что, расположившись ко мне, Закурдаев не остерегал-

ся и выражал свои мнения с полной откровенностью. Я наконец припомнил, на кого он походил, и сказал:

– Вы вылитый Максим Максимыч.

– Кто?– удивился Закурдаев.

– «Героя нашего времени» Лермонтовского читали?

– Не довелось. Кем он у него выведен, Максим Максимыч-то?

– Такой же старый служака, как и вы, добрый старик...

Ветхослужилые похожи один на другого, – пробормотал Закурдаев.

Я осведомился, не встречался ли он за свою долгую службу с Бестужевым-Марлинским.

– А-а, с тем самым,– протянул он,– нет, на довелось. С другими декабристами служил-с, а с Марлинским, увы...

– Может, он живет и теперь среди горцев и знать нас с вами не хочет. Слышали, наверное?

– Легенду старую? Слыхал. Враки! Ни Марлинский, ни прочие декабристы отечеству, ясно дело, не изменили бы. Видел я их в деле – смельчаки, сражались на совесть. Понимать надо, военная косточка, офицеры, Они ведь дворяне, да еще, сколько я знаю, родовитые, в солдаты разжалованы были, старались отличиться, Георгия заработать, унтером стать хотя бы... Да и не все ж они одинаковы были, иные, подозреваю, и наушничали, на других вину свою налили... Мужики те, ясно дело, к черкесам перебегали запросто, вон, у Шамиля пушкарями были, ядра для него лили, да и нынче многие в аулах живут. Удобно вам?

Я кивнул, дрема одолевала меня.

– Ко мне кунак ходит, – стал неторопливо рассказывать Закурдаев, и я стряхнул с себя сонную истому. – Из немирных. Придет в гости, ясно дело, подарков нанесет, предложу ему бузы или рому, он обязательно спросит: праздник у тебя? Если скажу: да, праздник, – чашку или рюмку выпьет, но больше не заставишь. Они хоть и употребляют вино или бузу иногда, но пьяными их не увидишь, не бузят. – Он засмеялся, довольный своим каламбуром. И прибавил:– Слово-то в русскую речь вошло после того, как солдатушки черкесскую бузу стали пить.

– А как же он к вам приходит, если немирный? – спросил я.

– Так. Приходит и все. Озермесом зовут. Я и отца его знавал – он в Турцию ушел со своими. Они оба песни сочиняют. Певцы у них оружия не носят, даже в бою. Другие сражаются, а эти, ясно дело, песни поют, подбодряют воинов. Вы вот спросили: как же немирный приходит? Поймите, он во мне не врага, человека видит. Такое нам с вами трудно понять. Нам вообще не понять их. Уж одно то, что они без власти живут…

Нет резона пересказывать то, что Закурдаев поведал мне в пути, о многом в жизни черкесов он судил понаслышке и путал были с небылицами. Как известно, у нас изрядно писали и пишут про общественный строй черкесов. Я стал особо интересоваться подобного рода сочинениями в ссылке, специально их выписывал. Посему могу более или менее полно судить о многом. Забегая снова вперед и, так сказать, опережая события, скажу, что Л. Я. Люлье в своих статьях «Черкессия», опубликованных за последние несколько лет, доказывал, что у горцев-шапсугов «общественное управление, как не имеющее главы, республиканское» и что «законодательная и распорядительная власти имеют начала свои в народе, следовательно, и управление должно считаться демократическим». Другие с этим не соглашались, утверждая, что старейшины, избираемые для решения тех или иных вопросов, из людей, славящихся бескорыстием и мудростью, не имели права принуждать, они могли лишь давать советы, следовательно, управления не было. У шапсугов не существовало смертной казни, телесного наказания и тюрем, и не было грабежей и воровства, этому я свидетель. Некоторые считали строй черкесов общинным, говорили, что в начале этого века сельские общины в Черкесии стали разлагаться под влиянием соседских феодальных нравов. Н. Дубровин лет пять назад в «Военном сборнике» вынес такое суждение: «В народе, не имевшем никаких властей, каждый должен заботиться о себе и об общественной пользе, заводить связи и употреблять силу слова для ограждения своих интересов. Такое политическое устройство развивает присутствие духа, быстроту соображения, а постоянные физические упражнения и деятельность способствуют развитию телесной красоты, гибкости и силы».

Думаю, что интерес к общественному строю черкесов, помимо этнографических целей, проистекал из одного источника – из неудовлетворенности государственным устройством России. Наши прогрессивные деятели ищут идеала то в русской общине, то глядят на Запад, то оборачиваются на соседей. Но разве в том тело? Можно сколь угодно спорить, например, по какой причине законы шариата не были приняты полностью, доказывать, что шариат, насаждавший насилие, противоречил свободолюбию горцев, но никакие рассуждения наши принести спасение шапсугам не могли. Тем более, что рассуждают и спорят главным образом те, от которых ровным счетом ничего не зависит – не в их руках судьбы народов.

Издали судить затруднительно, не хочу брать на душу греха и решать с уверенностью, однако мне представляется, что повсюду у нас пока одни болота, и, если где-нибудь и начинают пробиваться ручейки живой воды, то мне об этом неизвестно. Владелец книжной лавчонки в Енисейске, – из бывших поселенцев, вскоре прогоревший,– пытался рассуждать со мной о земствах и крестьянских присутствиях. Он видел в них зачатки всесословного самоуправления, не зависящего от верховной власти. Поскольку нашей губернии, подобно Польше и Кавказу, земств не дали, я знал о земской реформе только по журналам и кое-каким устным сведениям, но сказал, что авторами всех наших реформ являются столь близко знакомые мне Барятинские и Евдокимовы, с одной лишь разницей – одеты на сей раз они в статское платье. Он попытался убедить меня, заразить своей уверенностью. Блажен, кто верует. По мне все такие реформы – суета сует.

Вернусь к своему повествованию. В конце XVIII века несколько дворянских семей, в том числе Шеретлуковы, стали брать себе больше земли, чем требовалось для пропитания, нанимать работников и как-то ограбили торговцев. Шапсуги изгнали дворян, пожелавших жить не по адатам. Шеретлуковы обратились за помощью к бжедугам, у которых были князья. Князь бжедугов Баты-гирей и Шеретлуковы, понимая, что с возмущенными шапсугами самим не справиться, поехали в Петербург, к Екатерине II. Царица повелела дать Баты-гирею три сотни казаков и артилле-

рию. Шапсуги объединились для защиты. Произошло кровопролитное сражение. Как-то я услышал черкесское предание б этом. В нем говорится, что когда шапсуги возвращались с поля битвы, одна женщина спросила, где ее муж и сын. Ей ответили – убиты. Она стала царапать себя руками по лицу.– Почему же вы возвращаетесь живыми? – Мы убили Баты-гирея, – сказали они. Она засмеялась и стала бить в ладоши... Годы спустя дворяне у шапсугов окончательно потеряли свои преимущества. Вскоре такой же демократический переворот свершился у абадзехов.

Размышляя обо всем, чему я был участник и свидетель, спрашиваю себя: не в том ли и еще одна причина, по которой империя наша так стремилась покончить с шапсугами? Вольный образ их жизни, представлявший превеликий соблазн для русского раба-мужика, был, по-видимому, угрозой для монархии. За всю обозримую историю человечества шапсугов не удавалось покорить ни монголам, ни Александру Македонскому, ни крымскому хану. И мы тоже не смогли покорить их, мы их частично изничтожили, частично изгнали. Чиновники от нашей истории уверяют, что при столкновении двух народов более невежественный, с менее передовым строем неминуемо погибает. Но какой разумный человек согласится с этим? Мы победили лишь потому, что солдат у нашего царя было неизмеримо больше.

Возвращаюсь к бричке, в которой ехали мы с Закурдаевым.

– Вы говорите по-черкесски, Афанасий Игнатьевич? – спросил я, наслушавшись его рассказов.

– Чуток понимаю, но чтобы говорить... Нашему брату, ясно дело, легче в игольное ушко пролезть, чем их языку научиться. Гость придет, скажу: фасапши, кеблаг – с прибытием, мол, пожалуй в гости. Еще слов с десяток знаю. Но мне и не требуется. Озермес сам славно по-русски болтает…

Имя Озермес почему-то казалось мне знакомым, уже окончательно засыпая, я догадался, что оно звучит, как египетское Рамзес.

Проснулся оттого, что лошади остановились.

– Где?– спрашивал, поднявшись на локте, Закурдаев.

– Гляньте, во-он там, – ответил солдат-возничий, указывая кнутом на придорожные кусты.

– Что такое?– поинтересовался я.

Закурдаев сошел с брички, я тоже спрыгнул, чтобы размять сомлевшие ноги. Мы направились к зарослям ежевики и увидели лежащий на боку тарантас. Лошадей не было, чуть поодаль лицом вверх лежало мертвое тело. Рядом валялась почтовая сумка. Закурдаев склонился над мертвым

– В голову пуля угодила. Поди из кремневки, вон дыра какая.

Я подошел ближе. Лицо мертвого показалось знакомым. Всмотревшись пристальней, узнал фельдъегеря, который когда-то подвез меня. Припомнились его сумрачность, упорное нежелание отвечать на мои вопросы, загадочная, широкая, словно каменная спина и мой испуг, когда у тарантаса отлетело колесо. Сейчас фельдъегерь лежал с полуоткрытым ртом, виднелись желтые зубы, открытые глаза закатились, он, казалось, смеялся: так я ничего и не сказал тебе, Я отвернулся.

– Ямщика, должно, увели,– пробормотал Закурдаев.– Незадача. С собой везти придется.

Подошел солдат. Издали услышав сказанное капитаном, он заворчал:

– Куда его, мертвого-то? Только лошадей пужать. Здесь похороним, ваше благородие.

– Православный он, – не согласился Закурдаев,– ясно дело отпеть надо. Да и... – Он махнул рукой, не договорив.– Отнеси сумку в бричку, держи лошадей, а мы его возьмем.

Мы перенесли негнущееся тело фельдъегеря в бричку. Лошади храпели и норовили понести. Прикрыв лицо покойника сеном, Закурдаев сказал:

– Мне рядом с мертвым не впервой. А вы, ежели брезгуете или страшитесь, с солдатом сядьте.

– Все равно. – Я полез в бричку. – Может, и нам недолго осталось.

– Типун вам на язык! Здешние меня, если разглядят, не тронут, а вот коли пришлые... Поедем, бог не выдаст, свинья не съест.

Закурдаев сел, и мы снова поехали. Покойник подпрыгивал на сене у меня в ногах, Я думал о бренности и бессмысленности бытия, о том, что все более выпадаю из общей жизни. Тело фельдъе-

геря придавило мне ногу, я освободил ее и вдруг почувствовал, что не хочу, очень не хочу умирать.

Доехали до поста в сумерках.

Пахло смолой и солью. За укреплением, построенным из камня и бревен, поднималась густо-синяя стена, на которой чернели три букашки. Не понимая, толкнул Закурдаева локтем и показал на стену.

– Вы что, моря не видали?– удивился он.

Бричка остановилась. Подбежали высокий, худой фельдфебель с двумя солдатами, весело поздоровались с капитаном. Мы сошли. Солдаты опустили на землю тело фельдъегеря.

Слышался шорох – словно кто-то, вздыхая, катал в сите камешки. Я направился к зыбкой синей стене, она стала опускаться, отдаляясь верхней частью, и я узнал море, такое же, каким оно было на картине Боголюбова, висевшей в актовом зале кадетского корпуса, только живое. Букашки оказались шхунами. Мачты кораблей тонко вырисовывались на сиреневом небе. Внизу под обрывом вода то отступала, то наваливалась на берег, взметая белую, светящуюся пену. Сбежав к морю, я зачерпнул из воды и стал брызгать себе на лицо, слизывая языком солоноватую воду, и от свежей терпкости этой будто проснулся не ото сна, а от всей своей недавней опостылевшей жизни.

Закурдаев окликнул меня, Я отозвался и полез по откосу. Ветерком, дувшим в сторону моря, принесло сладковатый запах гниения. Где-то поблизости, наверно, была свалка.

Через полчаса мы сидели за низеньким столом, заставленным мисками с сыром, холодной телятиной, запеченной рыбой, еще чем-то. За спиной моей потрескивали в громоздком, сложенном из булыжника камине смолистые поленья. Из котла, висевшего над огнем, шел сытный мясной дух. В углу стояла покрытая ковром тахта. Денщик занес большой глиняный кувшин с вином. Закурдаев принялся распечатывать штоф с ямайским ромом. Я посмотрел на затянутое бычьим пузырем окно, на тускло горевшую масляную плошку, на озабоченное лицо Закурдаева, – он старался, чтобы кусочки пробки не попали в штоф, – и почувствовал себя почти дома.

– Фельдъегерь-то ко мне пакеты вез, – сообщил Закурдаев, разливая ром в стопки из зеленого стекла.– Генерал Евдокимов отчетов требует... Ну-с, начнем? По первой, за благополучное прибытие!

Мы опрокидывали одну стопку за другой, я от души хохотал шуткам старика и все крепче привязывался нему

– Гляньте, – сказал Закурдаев, – пьешь, потом р-раз!– Он щелкнул ногтем указательного пальца по кончику своего мясистого носа и крякнул:– В щелчке сём заложен глубокий смысл. От щелчка вызывается слеза, увлажняющая изнутри нос, и пары винные плавно отходят. Можно, ясно дело, занюхивать ржаной корочкой, но при этом пары спиртного вбираются в себя. Занюхивают, когда водки мало, либо от жадности.

– До чего же славно у вас, Афанасий Игнатьевич, – сказал я,– как на острове, далеко от всех мирских гадостей и тревог.

Закурдаев почему-то съежился от моих слов и, тихо улыбаясь, промолвил, обратившись на ты:

– Рад, что смог услужить тебе, Яшенька.

– Слуша-ай! – раздалась за окном перекличка часовых.

Закурдаев засопел, расстегнул воротничок мундира и разлил по мискам вино.

От того, что мне хорошо было, я разговорился и поведал старику обо всём, происшедшем со мной. Насчет дуэли с Поповым-Азотовым он высказался в смысле – дело обычное, насчет истории с Джубгой выразил сомнение – мог ли князь Барятинский так поступить, но чем дольше он слушал, тем сильнее в глазах проявлялись сочувствие и понимание. Мы пили снова, и я приметил, что с опьянением Закурдаев становится неспокойнее, тревожится чем-то и грустит. Он не веселился более, а старался веселиться, все оглушительнее хохотал, все громче кричал, словно бы убеждая и меня и себя в том, что мы оба бесконечно довольны жизнью.

Вошел денщик, спросил не нужно ли чего. Закурдаев налил ему рому.

– Выпей за гостя, Иван. Как там?

– Читают над покойным,– ответил денщик,– свечу зажгли, нашлась одна у каптенармуса.

Когда денщик ушел, я сказал, что нижние чины, по всему видно, уважают своего капитана.

– Душа в душу живем. Инвалидная команда! Большинство солдат в возрасте, кто здоровый, кто больной, я, ясно дело, им отец родной. – Он ухмыльнулся. – Признаюсь тебе в одной своей слабости. Ты приметил, конечно, что я хромаю – пулей сухожилия повредило. Так, знаешь, с тех пор, как я захромал, прямо-таки любовь чувствую ко всем хромым. Тем из своих, кто в ногу ранен, я, ясно дело, и поблажки даю, и проступки прощаю. Знаю, несправедливо это, но ничего не могу с собой поделать.

– Как же вы тогда ко мне прониклись? – спросил я. – У меня только плечо задето.

– К тебе? – Он принял мою шутку всерьез и задумался. – А ты, Яшенька, тоже, как я вижу, хромой, только в переносном смысле. Прости меня за откровенность.

Где-то вдали заплакал ребенок. Я удивился, но плача больше не было слышно. Готов поклясться, что Закурдаев тоже расслышал плач, но сделал вид, будто не замечает, и громко заговорил:

– Русский солдат всем солдатам солдат! Расскажу я тебе... Только издалека начну – Он прочистил и снова набил трубку, поправил поленья в камине, откашлялся и начал: – Мы вдоль берега, может вам про это в корпусе читали, в конце тридцатых, начале сороковых годов противу турок крепостей, фортов да укреплений понастроили: Святого Духа на мысе Ардилер, Вельяминова подле реки Туапсе,– Туапсе по-шапсугски Двуречье значит, – Головина, Лазарева, еще Александровское на реке Саше, его потом в Навагинское переименовали… Хотели мы, ясно дело, и помешать горцам получать из-за границы съестные и военные припасы, не давать торговать и зимой пригонять скот к берегу, на теплые пастбища. Служить в фортах было хуже каторги. Тоска, лихорадка, за ворота носу не кажи, солдаты мерли, что ни день. На мысе Ардилер весь гарнизон, человек этак с тысячу, от болезней полностью вымер. Зимой сорокового снега навалило в горах, и разразился у черкесов страшенный голод. Они к нам толмачей прислали – требовали провианту, еду для детей и женщин, обещали потом вернуть кожей, медом, скотом. Толмачей, ясно дело, прогнали.

Тогда черкесы стали нападать. В форте Лазарева перебили всех и провиант увезли, потом мюриды Вельяминовское укрепление разграбили. Весной пришел черед и Михайловского.Начальником гарнизона там был штабс-капитан Лико, крепкого характера офицер. За день до нападения шапсуги толмача прислали. Так, мол, и так, нам провизия нужна, кровь мы проливать не хотим, сдавайтесь лучше, а то завтра на вас пойдем, Лико крикнул: «Русские не сдаются, убейте его, ребята». Толмача, ясно дело, пристрелили. Лихой командир был Лико, по крови француз, а душой русак. В гарнизоне защитников две с половиной сотни солдат, остальные или на ногах не держатся, или в лазарете лежат. Крикнул Лико охотника взорвать пороховой погреб, если горцы на укрепление поднимутся. Вызвался на подвиг рядовой Архип Осипов, сказал: «Хочу сделать полезное России. Кто жив будет, помни мое дело». Иеромонах Паисий благословил его, и дали ему, ясно дело, рому из командирского запаса два или три штофа. Когда на другой день черкесы ворвались в укрепление и стали двери порохового погреба ломать – думали, провиант там, Осипов, ясно дело и рванул. Бедняга погиб под развалинами форта. С того времени на вечерней проверке в Тенгинском пехотном полку, согласно высочайшего повеления, вызывают навечно занесенного в списки рядового Архипа Осипова. А правофланговый отвечает: «Погиб во славу русского оружия». Услышишь такое, и восторг по жилам. Выпьем за Осипова, Яшенька!

Закурдаев осушил миску с вином и обтер усы.

То ли от хмеля завладевшего мной, то ли от рассказа старика, вновь вернувшего к действительности, мне стало тоскливо. Вспомнилось, что я давно, пожалуй, с тех пор, как в полк приезжал князь Барятинский, не писал матери.

Вдали опять заплакал ребенок. Что за наваждение? Посмотрел на Закурдаева, но он старательно раскуривал трубку.

– А наши тоже погибли?– спросил я.

– Уцелело человек восемьдесят, Лико смертельно ранен был. Черкесы их не тронули, увели в аулы, а потом вернули, на своих выменяли,

– И вы там были, Афанасий Игнатьевич?

– Бог миловал. Я от иеромонаха Паисия подробности знаю.

Мы примолкли.

– Слушай-й!– запели часовые.

Закурдаев встрепенулся.

– Я теперь тебе комедию расскажу. Штурмовали шапсуги и абадзехи Навагинский форт. Жена начальника гарнизона Присыпкина,– бесстрашная полковая дама была,– возьми и выйди под обстрелом на крепостной вал, с зонтиком. Черкесы, как ее увидели, тут же, ясно дело, сняли осаду и ушли, а через полчаса передали Присыпкину, что с женщинами они не воюют. Генерал-лейтенант Раевский потом шутил, что надо было вместо войск сюда из России побольше офицерских жен прислать, джигиты сразу пардону запросили бы...

Историю эту мне уже рассказывали в полку. Нестерпимо захотелось забраться, как в детстве, с головой под одеяло, плотно заткнуть все щели и лежать, не двигаясь, слыша один лишь звук – стук собственного сердца. Я с горечью вспомнил, что не завтра, так послезавтра мне придется вернуться в полк.

– Как досталось моему, уж не говорю о вашем, поколению,– сказал я.– Сколько мы повидали...

– Ничего ты еще не видел,– грубовато заметил Закурдаев, встал и, запев знакомую мне с детства солдатскую песню, заходил по комнате:

Вы гоните нам в подарок
Волов жирных и овец,
Нам их нравится поярок
И опоек от телец!

Закурдаев засмеялся издевательски и продолжил:

Мы за ваше здесь здоровье
Кашу маслом обольем,
На углях мясца коровья
Мы поджарим и попьем!...

Он умолк, остановился перед висевшим на стене небольшим поясным портретом Александра II и принялся изучать его покатый лоб, большие уши, зачесанные слева на пробор волосы, бакенбарды, и длинные усы.

– Говорят, он теперь бороду запустил,– непочтительно произнес Закурдаев.

– Что вы царя рассматриваете? – спросил я, подумав, что Закурдаев, пожалуй, не бог весть как схож с лермонтовским Максимом Максимычем, тот наверняка не позволил бы себе столь вольного поведения.

Закурдаев ответил мне не сразу,

– Доложиться хочу.– Он вытянулся перед портретом и гаркнул: – Ваше императорское величество, на вверенном мне кладбище все в должном порядке, как мерли, так и мрут!

Старик, по-видимому, упился. Все же я спросил:

– Что за дичь вы несете?

Закурдаев оглянулся через плечо каким-то безумным взглядом, прихрамывая, вернулся к столу, опустился на табурет, повалился головой на миски и заплакал.

– Полноте,– стал уговаривать я.– Что с вами?

Сквозь всхлипывания он попросил оставить его в покое и лечь спать на тахту.

Я лег, не раздеваясь, только сапоги стянул. Мне приснилось, будто я попал в какую-то расщелину меж скал и никак не могу из нее выбраться. Возле меня задыхался кто-то еще. Затихнув, он произнес голосом Попова-Азотова: «Вот так-то, брат. Что ж, пошли...»

Я проснулся.

В комнате было светло от взошедшего солнца.

Когда я поднялся, Закурдаев сидел за столом в расстегнутом мундире, с красными глазами и ждал, чтобы я снова присоединился к нему. Возле него стоял непочатый штоф.

Денщик полил мне на руки, подал полотенце. Я зажмурился от яркого солнца и его многократного отражения от облаков и ослепительной поверхности моря. За спиной моей поднимались

к небу горы, прикрытые лохматыми шкурами лесов. Я вернулся в душную, прокуренную комнату. Закурдаев трясущейся рукой поднес мне стопку с ромом и кивнул на миску, в которой лежали соленые огурцы. Закусив, я немного пришел в себя после ночи и спросил:

– Афанасий Игнатьевич, почудилось мне или в самом деле давеча где-то младенец плакал? У вас есть женщины? Он качнул головой.

– Есть.

Неразговорчив он был сегодня. Я вновь спросил:

– Фельдъегеря когда хоронить будете?

– Уже,– буркнул он, взялся руками за лицо, придавив щеки, и принялся раскачиваться на табуретке, как от зубной боли.

– Утром?– удивился я.

Его передернуло всего, и он неохотно объяснил:

– Мы могилы загодя роем... Послушай, Яшенька, давай пить ром из мисок, а?

Я наотрез отказался, он насупился, налил себе, поднял чашу и глухо проговорил:

– За упокой души убиенного. Я приказал в общей могиле его похоронить. На том свете разберутся, кто из них христианин.

Я спросил, о какой общей могиле он говорит. Выпив, Закурдаев помахал перед открытым ртом рукой, отдышался и не менее загадочно ответил:

– Поскольку по закону божьему все люди братья, фельдъегеря похоронили в братской могиле.

Он задумался, потом, очнувшись, сказал:

– Пойдем, посмотришь.

Выйдя за ворота, мы направились вдоль берега, и мне вновь стало легко от чуть вспененного морского простора, сияния солнца, прохладного соленого ветра, от того, что голова моя после завтрака посвежела, и мне так хорошо, так привольно дышалось. «Какого черта тащит он меня к могиле» – с легкой досадой подумал я и залюбовался стоящими на якорях парусниками.

За нами увязался фельдфебель. Высокий, худой, сутулый, с длинной тонкой шеей, на которой, словно ромашка на стебель-

ке, торчала лопоухая большая голова, он шел чуть позади меня. Я обратил внимание, что вопреки теплой погоде на фельдфебеле надета короткая, до колен, шинель, перепоясанная ремнем с кобурой, и спросил:

– Ты чего не по форме?

Он ответил совершенно не фельдфебельским фальцетом, часто моргая голубенькими глазками:

– Его благородие разрешили. Лихорадка у меня.

«И впрямь, инвалид на инвалиде, – подумал я, оглядывая нескладную фигуру фельдфебеля.– Как только его солдаты слушаются?» Заметив, что я снова рассматриваю парусники, фельдфебель пояснил:

– Турецкие кочермы, ваше благородие, за товаром пришли, за черкесами то бишь.

Мне стало смешно.

– Продаете им черкесов, что ли?

– Дак, не то чтобы, одначе вроде так...

Я рассмеялся, представив Афанасия Игнатьевича в роли работорговца. Экий бестолковый фельдфебель, и объяснить толком не умеет.

Закурдаев не оглядывался. Он свернул к лесу, перепрыгнул через ручей и замедлил шаг, поджидая нас. За ручьем грядой тянулись кустарники. Догнав Закурдаева, я хотел было заговорить, но он показал мне рукой, чтобы я молчал, и кивнул на широкую поляну у опушки леса. Образовалась она, наверное, после того, как срубили деревья для постройки укрепления.

– Погляди,– промолвил Закурдаев.– Они из одного аула...

Фельдфебель остановился возле нас, снял фуражку и перекрестился.

Я разглядывал поляну. На ней были люди, по одежде горцы – мужчины и женщины. Они лежали вповалку, то по одному, то по двое, то рядом, ничком, на боку, скорчившись или раскинувшись, чаще на спине, вытянув вдоль тела руки. Мне не приходилось видеть вместе столько умерших. От чего они погибли? Если взрыв порохового погреба, то трупы оказались бы поврежденными – я представлял, что остается от человека, застигнутого взрывом по-

роха. Ружейным огнем они тоже не могли быть сражены. Что же за болезнь,– чума, холера, – свалила их здесь? Вот откуда вчера принесло к морю трупный запах, Но, находясь возле них, я его не чувствовал. Вопросительно посмотрел на Закурдаева, – тот глядел куда-то вдаль, поверх поляны. Повернулся к фельдфебелю. Он перегнулся ко мне со своей высоты и, ровно бы остерегаясь, чтобы его не услышали мертвецы, прошептал с истовой убежденностью...

– Все в раю будут...

Было тихо. Вдали вздыхало море, а над поляной гудели пчелы и жужжали мухи.

Я решил, что, боясь заразы, гарнизон поста постепенно хоронит погибших горцев, и в одну могилу с ними Закурдаев распорядился опустить тело фельдъегеря. Почему он так поступил, я не мог взять в толк. Если правда о похоронах фельдъегеря дойдет до начальства, огорчений Закурдаеву не миновать. Да и самому ему надлежало чтить и верования живых людей, и таинство смерти. К чему кощунствовать?

– Как же вы это,– спросил я фельдфебеля, – православного вместе с мусульманами предали земле?

– Их благородие приказали,– вполголоса ответил он,– выпимши с утра были изрядно, мы заспорили, а они как гаркнут...

– Афанасий Игнатьевич,– я толкнул задумавшегося капитана,– негоже получилось... Про фельдъегеря говорю.

Он уставился на меня с мрачным видом, словно не уразумев, о чем я. Потом криво усмехнулся и пробормотал совсем дикое:

– Там они в мире лежать будут. Меня тоже бы туда, когда помру... Только в могиле все мы можем сговориться.

Я лишь плечами пожал. С какой целью Закурдаев привел меня сюда, да еще в такой светлый, отрадный день? Собираясь повернуть обратно, нечаянно обратил внимание на одну странность – все горцы лежали лицом к солнцу, к востоку, следовательно, не болезнь свалила их, а они сами легли так еще живыми.

Закурдаев пошел на поляну, перешагивая через трупы, как через бревна и поманил меня рукой. Одолевая себя, я направился к нему, стараясь не переступать через умерших, а обходить их.

Фельдфебель двинулся за мной, я слышал позади его неровное дыхание.

Возле одного из умерших, возраста его я не мог определить, потому что лицо было закрыто папахой, стояла чалая лошадь без седла. Стояла она как-то странно, расставив ноги и опустив морду. Присмотревшись, приметил, что лошадь измождена до крайности, ребра выпирали из-под серой, с белыми волосками шкуры, живот втянулся. Я догадался, что она расставила ноги, дабы не упасть от слабости, стоя умирала возле своего хозяина. Обойдя лежавшего на спине человека, я подошел к лошади, протянул руку, коснулся лба, на который свисал клок белых волос. По шкуре лошади пробежала дрожь, и несколько слезинок выкатились из глаз и упали на папаху, прикрывавшую лицо хозяина.

В смятении я поспешно отошел и догнал Закурдаева.

– Афанасий Игнатьевич,– тем же шепотом, что и фельдфебель, начал я, но Закурдаев снова остерегающе поднял руку и кивнул на землю. В один ряд у наших ног лежали четверо: белобородый старик в папахе, старуха, лицо ее было закрыто шерстяным вязаным платком, под которым виднелись поседевшие длинные волосы, мальчик-подросток, скорчившийся так, что колени касались подбородка и молодая женщина с расстегнутыми бешметом и рубахой – виднелась белая грудь, покрытая росой. Крепко сжатые губы женщины чуть разошлись по уголкам, и она могла показаться улыбающейся, не будь неподвижности всего ее облика. Одна рука женщины откинулась в сторону – в пальцах была зажата детская рубашка. Я поискал взглядом ребенка, но его не было. Уж не он ли плакал ночью?

– Все, все в раю будут, – прошептал над моим ухом фельдфебель.

Я опять посмотрел на мальчика – он лежал спиной ко мне, на старика и чуть не закричал, как в детстве, от страха. Старик был похож и на бывшего хозяина Джубги, и на троицкого мужика. Такой же морщинистый лоб, такая же загорелая до черноты шея и белая борода, и руки в мозолях. Правая рука его была разжата, и я видел, что мозоли на ладонях отслаивались. Даже зубов впереди не хватало. Не могли три разных человека быть столь похожими

друг на друга, мне это мерещилось, не иначе.

Я принялся разглядывать женщину. Как красива была она! От длинных густых ресниц на веки и щек ложилась синева, небольшой рот, тонкий прямой нос, маленькие уши – одно было прикрыто густыми каштановыми локонами, лицо словно из слоновой кости выточено. Если мертвой женщина такая, то как же красива была она в жизни! Рассматривая, обратил внимание на одежду – розовый бешмет с металлическими застежками, рубашка со стоячим воротником, суженные книзу шаровары и красные чувяки на маленьких ногах. Всегда ли она была одета так или оделась во все новое перед смертью, чтобы нарядной предстать перед аллахом?

– Афанасий Игнатьевич!– снова позвал я.

Он резко повернулся, и одновременно вдруг зашевелился труп старухи. Испугался я от неожиданности так, что у меня даже не стало сил попятиться. Старуха задвигалась, стащила с лица платок и безразлично, с равнодушием, так, словно мы были тенями, посмотрела на нас, пробормотала что-то и снова прикрыла лицо платком.

– Не мешайте нам умирать,– медленно, с расстановкой произнес Закурдаев, и я догадался, что он перевел на русский слова старухи. Спазма сжала мне горло. На лице старой горянки было то же выражение усталости и отрешенности от всего, какое я наблюдал на лице матери после кончины отца.

Я отвернулся, дабы не видеть более сухого старушечьего тела, столь легкого, что оно, как показалось мне, не приминало даже травы. Что-то заставило меня оглянуться. Я увидел живые глаза человека, лежавшего поблизости с вытянутыми вдоль тела руками. Солнце освещало его отвердевшие лоб, нос и скулы и искрилось в темно-карих глазах, не выражавших, как и у старухи, ни страдания, ни ненависти. Лишь в том было различие – для него я существовал, он не сквозь меня глядел, как старуха, а именно на меня, глядел пристально, не мигая. Я отвернул голову, но оказалось, что не только один этот горец открыл глаза, но и другие, казавшиеся мне до того умершими. Как я теперь понимаю, глядели на меня немногие, но тогда мне почудилось, что стали смотреть все, совершенно все, и от множества взглядов этих некуда было

уйти, всюду, куда я ни поворачивался, виднелись глаза, они словно охлынули меня...

Дальше в голове моей все смешалось, и я ничего не могу вспомнить и по сей день не знаю, что со мной было. Возможно, я пытался унести с поляны старуху, чтобы спасти ее, но скорее всего только кричал об этом. Иногда кажется, будто я поднял на руки мертвую молодую женщину и куда-то с ней побежал, а Закурдаев и фельдфебель меня задержали. Думаю, что не было и этого.

Очнулся я возле моря, неподалеку от укрепления. Закурдаев держал меня за плечи, а фельдфебель лил из медного кувшина воду мне на лицо. Чуть не захлебнувшись, я стал вырываться.

– Успокойся, успокойся,– сказал Закурдаев,– оботрись и сядь.

Плохо соображая, совсем изнемогшись, я прислонился спиной к стволу кряжистого дерева. Закурдаев примостился рядом, извлек из-за пазухи фляжку и протянул мне.

– Хлебни, полегчает.

Я выпил рому.

Фельдфебель ушел, разок оглянувшись. Закурдаев после меня приложился несколько раз к фляжке. Расспрашивать его не было нужды – я уже все понял. Вполуха слушал, как он бубнил:

– Этих вот, что лежат там, отъезжать в Турцию ихний старейшина все сманивал. Долго они согласия ему не давали, но... время-то лихое. Собрались они, спустились с гор, а тут вдруг узнали, что в Турции их не сыр-масло ждет. Одиночные, – из ранее выехавших,– пробились от турок обратно и рассказали: их паши черкесов – за изгородь, кругом янычар ставят и морят голодом. Куда же после этого ехать? Легли так вот, скопом, и помирают. Команда моя трупы таскает, хоронит... А старейшина скрылся, то ли в Турцию лыжи навострил, то ли где-нибудь на Кубани схоронился. Сына своего он ведь к нам служить послал, да-а, видел я его. Прапорщик Ахметуков, наездник и ухарь, что надо! Вот, Яшенька, как оно бывает.

– Чего же турки их голодом морят?– вяло спросил я.– Сами же к себе звали...

– Переизбыток вышел, дружок... Тысяч сто, или уж не знаю, сколько там черкесов для армии им за глаза хватило, больше было

не прокормить, а горцы, уже непрошенные, едут и едут. Вот они их и перестали привечать. А у меня своя забота. Мой-то изувер...

– Кто? – снова спросил я.

– Генерал Евдокимов, кто еще! Внушения делает: плохо стараетесь! Я ведь в соответствии с его требованиями содействовать должен в переселении. И еще бухгалтерию вести, то бишь учитывать, сколько вчера померло или отбыло в Турцию, сколько сегодня,– обо всем еженедельные донесения посылаю. А Евдокимов опять, ясно дело, требует: уменьшайте, скорее уменьшайте списочный состав горцев. Иные офицеры, дабы выслужиться, генералу очки втирают: отбыло сто черкесов, а они отписывают, будто двести...

Я хотел было прервать его, но не стал. К чему? Какое это имело теперь значение? Надо думать, ему не с кем более разделить свое сострадание к погибающим. С той же целью, наверно, он меня и на поляну повел.

– Знаешь, Яшенька, до чего додумался один турок?– бормотал Закурдаев.– Он, получив от нас плату за провоз горцев, отошел подале, дно у барки продырявил и отправил вместе с черкесами в пучину морскую. Так ему прибыльнее показалось, чем кормить и до места везти...

Не хотелось более слушать его.

От рождения я знал: умирают от старости, от болезни, от пули или кинжала, от отравы, огня или кораблекрушения. Здесь же умирали от полной безысходности, от крайнего отчаяния, и умирали не одиночки, тихо угасали целые семьи. Необычен был и сам облик смерти, более всяких описаний и рассказов раскрыл он мне глубочайшую веру черкесов в то, что они не исчезнут, а перейдут в другой мир, продолжат в нем свою жизнь. «Все, все в раю будут», – шептал мне фельдфебель, по-своему, но, тем не менее, справедливо воспринявший исход из земного бытия чуждого ему народа.

– Афанасий Игнатьевич,– спросил я,– а куда делся ребенок? Помните, у той молодой черкешенки? Он что, умер раньше матери?

– Дети раньше матерей не умирают, мать уже похолодеет, а

ребенок грудь сосет и сосет. Турки, поди, забрали.

– А на что им младенец?

– Продадут бездетным.

«Людоубийца! – мысленно сказал я себе.– Ты преступник и людоубийца!» Я повторял это себе снова и снова, сидя под кряжистым деревом, рядом с пьяным Закурдаевым, я говорил это себе, ни за кого не прячась, не браня высокопоставленных и ниже рангом стоящих, не прикрываясь щитом служения отечеству, исполнения воинского долга и данной мною присяги, не пытаясь сослаться на неумолимость истории, под колесницу которой попадают то одни народы, та другие.

Закурдаев пробормотал:

– Я ведь ее еще живой застал, какая красота, поистине ни в сказке сказать, ни пером описать...

Пока мы сидели под каштановым деревом, на берегу появилось несколько черкесов, один из них держал под уздцы лошадь. К горцам подошли солдаты, посмотрели на них и ушли. От ближайшей кочермы отвалила шлюпа.

– Уезжают,– сказал Закурдаев.– Пойдем к ним?

– Идите, мне не хочется,– с равнодушием сказал я.

Закурдаев, кряхтя, встал, направился к горцам, что-то спросил у них. Шлюпка остановилась у сколоченного из бревен причала. На берег сошел толстый турок в чалме, с серьгой в ухе – она блестела на солнце и была видна издали, заговорил с черкесами. Они оживленно толковали с тем, кто держал под уздцы коня, насколько я распознал издали, кабардинца, похожего на Джубгу. Горец отрицательно качал головой, с чем-то не соглашаясь, Закурдаев тоже обратился к нему, и горец, улыбнувшись, снова замотал головой. Лошадь он отпустил, она стояла позади, положив морду ему на плечо. Черкесы сошли в шлюпку и отплыли. Когда шлюпка подошла к кочерме и люди поднялись на палубу, горец, оставшийся на берегу, снял с плеча винтовку, разрядил ее в воздух, размахнулся и бросил в воду. Потом снял с себя пояс с кинжалом, тоже зашвырнул в море и сбежал по откосу. Послышался свист. Лошадь, приподняв передние ноги, спрыгнула к хозяину. Он обхватил ее за шею, направил в волны и поплыл рядом.

Я ожидал, что они подплывут к корчме и турки поднимут коня с всадником на борт, но горец, держась за гриву лошади, проплыл мимо судна. Они медленно удалялись, то пропадая, то появляясь за волнами, пока совсем не скрылись из виду.

После того, что я увидел на поляне, горделивая смерть эта уже не поразила меня, я лишь подумал:

«Вот пример тебе. Пора научиться так же просто подводить свои счеты с жизнью. Для чего, уходя, хлопать дверью? Все равно этим ничего не изменишь. Какая разница, что потом скажут о тебе?» Понимая, что у меня не хватит воли утопиться, я надумал пустить пулю в лоб и сделать это не здесь, чтобы не огорчить Закурдаева, а в полку или, если не достанет терпения, в дороге. Странная тварь человек! Решившись, я не только успокоился, но и ощутил некое удовлетворение, даже удовольствие, словно бы задуманное было разумным и полезным.

Вернулся Закурдаев, постоял молча возле меня, потом вытянулся и, прикидываясь шутом, доложил:

– Обед готов, господин поручик. Прошу-с.

Я с безразличием посмотрел на него. Между мной и им уже поднялась стена, решительно разделившая нас. И Закурдаев, и тощий фельдфебель, и денщик, и укрепление, мыс, море, поляна даже, находились здесь, на земле, а я одной ногой уже ступил туда. Есть, как я теперь думаю, огромная разница между самоубийством в состоянии аффекта, которое всегда случайно, и самоубийством, являющимся единственно возможным выходом из того тупика, куда тебя против твоих желаний и воли загнали.

Откуда-то появился молодой стройный горец. Он подошел к Закурдаеву. Я приметил, что лицо у старика прояснилось. Они о чем-то поговорили по-русски, озираясь на поляну, и горец ушел.

– Знакомец мой, – объяснил капитан,– помнишь, я говорил о певце Озермесе? Пришел к умирающим...

Разговаривать мне не хотелось.

После обеда я собрался восвояси или, как с некоторым самолюбованием подумал, на тот свет, но Закурдаев воспротивился, сказал, что одного он меня не отпустит, а завтра все равно отправлять нарочного в округ. Возражать не было смысла – днем

раньше, днем позже... Закурдаев вышел по своим делам, а я повалился на тахту, обнаружил на полке, прибитой к стене, книгу – потрепанную, без начала и без конца, какое-то историческое пособие, то ли для гимназии, то ли для военных училищ. Издавна было замечено, что на больную мозоль наступают все. И я действительно тотчас наткнулся на жизнеописание любвеобильного, семижды женатого Иоанна Грозного. Когда русская женщина государю приелась, ему доставили юную красавицу, черкешенку Гощанай, известную более под именем Марии Темрюковны. Разумеется, не одно любострастие руководило Иоанном. Целуя Гощанай, он словно бы лобызал и тех адыгских вождей, которые до того прибыли с посольством – бить челом о заступничестве и помощи против турок и крымского хана. Послав против хана два отряда, царь прибавил к своему титулу наименование государя кабардинской земли, черкесских и горских князей и обещание послов поставлять по тысяче аргамаков ежегодно да еще двадцать тысяч воинов для несения государственной службы и войны… И без того омраченный, я не стал читать далее и положил книжку на место – у Закурдаева она была вроде бы единственной. Неужто кто-либо способен проникнуть разумом в коловерть истории?! Ведь, сколь мне помнилось, адыгские вожди и к Павлу I обращались с просьбою принять их в подданство, на что последовал решительный отказ – осложнений с Оттоманской Портою побоялся наш курносый самодержец.

Тогда я еще не знал всей сложности отношений между черкесами, нами и Турцией, но уже несколько месяцев спустя мне стало ведомо, что шапсуги в большинстве своем не доверяли и туркам, распознавая за сладкоречивыми посулами мулл и пашей – посланцев Оттоманской Порты все то же алчное стремление завладеть их землей. Мне рассказывали с горечью впоследствии, что многие горцы поддавались на обман, шли в мюриды – последние являлись чем-то вроде послушников, избравших путь самоотреченного служения аллаху,– проповедовали войну против всех неверных – газават и с ятаганом в руке нападали не только на русских, но и на своих же свободолюбцев.

За окошком клонилось к закату багровое солнце.

Напиться допьяна захотелось мне без удержу, что и было исполнено за ужином.

Ночью не спалось, я проклинал себя за то, что остался, храп Закурдаева, спавшего на расстеленной по глинобитному полу бурке, раздражал мою отлетавшую душу, и я встал, вышел на волю. Часовой открыл мне ворота.

– Далеко не ходите, ваше благородие, кабы чего не вышло.

Знал бы он, что со мной уже ничего не может «выйти».

– У вас тут тишь да благодать,– сказал я,– как в раю.

Светила полная луна. Море плюхалось о берег, перекатывая гальку. Одна из кочерм ушла, на оставшихся светились огоньки. Я невольно поискал взглядом горца с конем и задумался о том, сколько может проплыть лошадь и кто из них ушел под воду первым. Они уже давно в другом мире... Лунная дорожка, искрящаяся на воде, предлагала ступить на нее и пойти в даль, к горизонту.

Я свернул к мысу. Не потому, что поляна притягивала меня к себе, как убивца манит место преступления, просто надо было куда-то идти, я и пошел знакомой дорогой. Показались темные кустарники. За ними кто-то пел грустную песню. Раздвинув кусты, я увидел стоящего возле деревьев горца. Он тоже заметил меня, Я повернулся, чтобы уйти, и споткнулся о лежащего в кустах человека. Притронулся к лицу его – он был мертв. Меня в дрожь бросило. Наверно, уже в бессознательности, руководимый инстинктом жизни, он попытался уползти с поляны. Солдаты вряд ли сыщут мертвого в густом кустарнике. Превозмогая себя, я нагнулся, поднял покойника – он не был тяжелым, и, переносся на поляну, опустил возле других горцев. Все, что скопилось во мне и комом стояло в горле, вырвалось вдруг рыданиями. Я пошел прочь. Послышался шорох. Высокий горец стоял вблизи, пристально глядя на меня. Кажется, днем я видел его с Закурдаевым.

– Озермес?

Он медленно подошел. Все было как во сне: неживой яркий свет луны, люди, лежащие на поляне, – их стало заметно меньше, – приглушенное ворчание прибоя, большая черная бабочка, беззвучно пролетевшая мимо меня и человек в черкеске, в папахе,

тень которой прикрывала лоб и глаза, с каким-то музыкальным инструментом в руке. Я не знал, поймет ли меня горец. Припомнив, что певец знает русский, я сказал, что довожусь Закурдаеву кунаком и спросил горца, не он ли пел. Озермес ответил, правильно и четко выговаривая русские слова, что пел он. Сперва просил: встаньте, пойдем туда, где нет войны, а они не верили, отвечали: жизни больше нет, смерть сожрала ее. Тогда он стал петь...

Странным, опять-таки, как во сне, был наш раз говор. Услышав ответ, я надолго смолкал, потом интересовался еще чем-нибудь. Спросил, что за песню он пел, когда я подошел, и услышал: про то, как мать прощается с сыном. Он торопится и сейчас уйдет.

– Туда, где нет войны?– бездумно спросил я.

Озермес кивнул.

– А где нет войны?

– Там.– Он показал на юг,

– А почему они не верят тебе?

– Они ничему не верят,– Озермес задумался, словно бы подыскивая слова,– у них больше нет дыхания.

Ответ поразил меня.

– Разреши задать тебе вопрос, – сказал Озермес. Почему ты отнес туда мертвого и почему стал плакать? Разве ты знал умершего?

Я отрицательно покачал головой, но ответить затруднился – как объяснить?..

– У тебя горе?– продолжал допытываться он.

– Мне жаль их.– Я показал на поляну.

– А-а,– протянул он,– понимаю. У нас тоже иногда оплакивают врагов, храбро погибших в бою.

Он понял мой ответ по-своему.

– Нет,– сказал я,– не потому... У меня тоже нет дыхания.

Обдумав мои слова, Озермес спросил:

– Ты хочешь умереть?

– Да.– Я показал рукой на висок и прищелкнул языком.

Он явно удивился и уставился на меня. Я не знал тогда, что горцы никогда не стреляются. Они осуждают самоубийство, подобно нашей церкви. Убивать себя – грех. Дозволяется лишь спо-

собствовать приближению смерти, а взять тебя должна она сама.

– У меня есть друг – русский,– сказал Озермес,– зовут его Алия, по-вашему Илья. Он не хотел воевать с нами, живет теперь в ауле. Я могу взять тебя с собой.

Кровь частыми толчками забилась в висках. Как же раньше мне не приходило в голову?..

– Хорошо, Озермес, я пойду с тобой.

Он попросил подождать его возле моря, у камня, пока он сходит на поляну попрощаться.

Я побрел к морю, встал у проросшей мхом скалы и подумал, что сон сейчас кончится и я очнусь на тахте от храпа Закурдаева. Море рокотало, по воде бегали лунные блики. Мне стало холодно. Куда меня несет? Не все ли равно? В конце концов, безразлично – стреляться или идти навстречу неизвестности – в тот выход из тупика, о существовании которого я не догадывался. Разумеется, судорожное хватание за жизнь – свидетельство моего безволия, духовного несовершенства. Ничто ведь не могло оправдать моего существования, моего появления на свет божий, муравей был куда полезнее меня. Но что поделаешь, человек есть человек, он слаб... Я вспомнил о Закурдаеве, утром старик забьет тревогу, но оставлять для него записку не стоит, пусть никто не знает, куда я исчез, да и матери моей легче будет надеяться и ждать, чем получить извещение о смерти сына. Мать, как потом написала мне сюда, в ссылку, действительно не поверила слухам о моей гибели. Узнав о случившемся, она оправдала меня, как оправдывают своих сыновей все матери.

Шагов Озермеса я не расслышал. Он вырос как из-под земли.

Я шагнул навстречу ему, и в ту же секунду фуражка моя слетела на землю, неподалеку грохнул выстрел. Я оцепенел. Озермес толкнул меня за скалу и что-то крикнул по-черкесски. Ему не ответили. Закричали протяжно часовые, где-то за укреплением снова выстрелили. Озермес поднял и протянул мне фуражку.

– Ты стоял так, что луна хорошо освещала тебя,– объяснил он.

– А кто в меня выстрелил?

– Абрек один, там умирает его дядя. Я забыл спросить – тебе не нужно брать коня, сказать до свидания Закурдаю?

– Нет.

– Тогда в дорогу.

Мы пошли куда-то – сперва через мыс, потом изморьем, дальше и дальше, поднимаясь на горные отроги, спускаясь в расщелины, переходя вброд речки, море все оставалось справа, а луна опускалась ниже и ниже, пока не погрузилась в воду. Но мы не замедляли шаг, и в темноте все снова казалось сном, медленным и нескончаемым.

То, о чем мы говорили, вспоминается теперь смутно. Часа два, наверное, спустя, после того, как мы покинули поляну, Озермес, словно спохватившись, спросил:

– Как ты поживаешь?

– Спасибо,– удивленно ответил я,

– Надеюсь, семья твоя в добром здравии?

Я снова поблагодарил, догадываясь, что вопросы Озермеса – ритуал черкесской вежливости, и добавил: – Мать у меня одна, она далеко. – На это услышал:

– Пусть аллах дарует ей здоровье. Скажи мне твое имя.

Я назвал себя. После непродолжительного раздумья Озермес задал новый вопрос:

– Ты будешь нашим гостем, Якуб? Или поселишься в ауле?

Якуб – вот каким станет мое имя. Мысль о переходе к горцам и совместной с ними жизни никогда не приходила мне на ум. Я уже упоминал, приведя наш с Закурдаевым разговор: те, чьи имена войдут в историю – декабристы,– к черкесам не перебегали. Да простится мне, что я называю себя в одном ряду с ними, прощением мне одно – и именитые, и безвестные схожи в своих предрассудках и прегрешениях. Когда я пошел с Озермесом, я не к шапсугам направлялся, а уходил от всего опостылевшего, от смерти, от самого себя, Я подумал о том, что на заданный им вопрос все равно рано или поздно придется ответить.

– Буду жить с вами,– неуверенно произнес я.

– Ай, аферим![*] – изменив своей сдержанности, воскликнул Озермес.

---

* Аферим – выражения одобрения у адыгов.

– Почему мы идем ночью? Куда ты торопишься?– спросил я.

– В ауле человек умирает, меня ждут там.

У читателя может возникнуть вопрос – не слишком ли легко Озермес доверился чужому человеку? Доверчивость к людям отличает горцев, как и всех людей, близких к природе. Возможно, я не прав, но мне представляется, что подозрительность и отчужденность в известной степени плоды цивилизации. Бывают, разумеется, и другие причины. На Вологодчине, например, двери не запираются, замков там не увидишь. Мать рассказывала, что путник может войти ночью в любую избу и хозяин, проснувшись, ни о чем не спросит и тотчас примется ставить самовар. А в Приангарье на дверях запоры, на окнах дубовые ставни – избы, как крепости. В ночную пору незнакомцу, хоть он примется бревном в дверь колотить, ни за что не отворят, ибо пришелец может оказаться беглым каторжником и убийцей.

Судьба ворожила мне, послав Озермеса. Даже если я сам надумал бы перейти к черкесам, в пути меня, скорее всего, настигла бы пуля – или горца-абрека, или какого-нибудь турка-контрабандиста, проскользнувшего на своей шхуне мимо наших фрегатов.

На рассвете, когда можно было уже разглядеть, что у Озермеса светло-карие, с зеленоватым отливом глаза, я спросил, почему он не уехал с отцом в Турцию. Лицо его стало задумчивым.

– Мой отец сказал: жизнь человека – восход и заход солнца, многие шапсуги ушли догонять солнце, моя жизнь идет к закату, и мое место с ушедшими, а брать с собой молодого – все равно что не давать подняться утреннему солнцу... Еще отец сказал: я много пожил, много видел и, куда бы ни занес меня ветер странствий, родина моя будет со мной, а твои корни еще не проросли глубоко и, уйдя, ты позабудешь свою землю. И еще одно сказал мой отец: если мы уйдем оба, кто будет петь песни и рассказывать о нашем прошлом тем, кто родится? Отец никогда не учил меня словами, передо мной всегда был он сам, но, прощаясь, он все же сказал: хороший голос от аллаха, однако певчая птица ничем не лучше оленя или коня, поэтому джегуако не должен считать себя выше других. Его дело чувствовать чужую боль, как свою, и отго-

нять ее песней. Не пой о подвигах, которых не было, и о красоте, которую ты не видел. Много хороших песен у того джегуако, чьи глаза и уши всегда открыты и чувяки густо присыпаны дорожной пылью. Никогда, если ты не хочешь, чтобы голос твой стал воем шакала, не воспевай месть, палачей и пролитую кровь.

Пришлось на время отложить тетрадь.

Я поехал в Енисейск, разузнать у одного знакомца, имя которого по естественным причинам не называю, насчет нужных мне бумаг. По кое-каким сведениям ему можно было довериться. Он действительно охотно взялся помочь, осведомившись, на кого заготовить бумаги – дворянина, купца или мещанина. Я выбрал последнее по причине того, что дворянство соответствовало действительности, а для купца во мне мало дородности, грубости, да и рыло слишком осмысленное, подозрение вызовет. За мещанина же я вполне сойду – руки мозолистые, живот поджарый и глаза с соображением. Знакомец мой снабдил меня книгами и предложил, с условием вернуть, номер «Отечественных записок» с последним романом Ф. Достоевского. Я не взял, ибо произведения Достоевского доводят меня почти до слез. Спасибо ему за то, что в «Записках из мертвого дома» он сказал добрые слова о черкесах. Побродив немного по Енисейску,– он уже отстроился после пожара 1869 года, спалившего около семисот домов – почти весь город, пошел к своему знакомому ночевать. Енисейска я не люблю – он раб торговли и наживы, что делается особенно выразительным в августовские ярмарки, когда, после продажи золота и заключения сделок, половых в трактирах мажут колесным дегтем, грязные улицы устилаются ситцами, а заезжих див нагими купают в шампанском.

Знакомец мой был взволнован, пригласив меня сесть, он заходил по комнате, пощипывая бородку. Потом крикнул своей сожительнице – чалдонке – для удобства она именовалась невестой,– чтобы та сготовила нам чай. Пока самовар разогревался, он, предупредив – разговор tete-a-tete, сказал: сегодня ему сообщили, что в Петербурге аресты, заключено в крепость более

тысячи человек, они члены тайного сообщества, занимавшегося пропагаторством и распространением в народе запрещенной литературы. Понизив голос, он прибавил:

– Намеревались и новое покушение произвести... Что вы на это скажете?

Я задумался. Известие о выстреле Каракозова бросило меня некогда в лихорадку, я горел, как в огне. Божья кара должна была грянуть – за несправедливость, обман, за невинно убиенных! Одно смущало меня – во имя чего провидение отвело руку стрелявшего, почему Каракозов промахнулся? Или это было лишь предостережением? Но как же тогда с отмщением, с наказанием? Взяв в руки судные весы, я оглядывался на прошлое, озирался по сторонам, вопрошал, метался из крайности в крайность и все более запутывался... Не находя ответа на вопросы в окружающем, придя от сомнений к отчаянию, я оборотился на себя и спросил: а ты, ты сам выстрелишь?..

– Так каково же ваше мнение?– повторил свой вопрос знакомец.

Я ответил ему тем, к чему пришел за последние годы:

– Выстрелами в других себе не поможешь.

Держа самовар на вытянутых руках перед торчащими грудями, вошла подруга хозяина. Мы умолкли. Она поставила самовар на стол, весело покосилась на меня и вышла. Я невольно проводил ее глазами. Он, перехватив мой взгляд, неловко спросил:

– Надеюсь, вы не осуждаете? Жизнь, знаете ли, проходит, и ежели ждать чего-то...

– Нет, не осуждаю, – сказал я...

Вернувшись домой, перечел написанное. Оказывается, нигде мною не объяснено происхождение слова черкес, а вопрос об этом обязательно возникнет. Так вот – одни уверяют, что родоначальниками черкесских племен были два брата – Чер и Кес, другие находят истоки в названии реки Черек, где в кровопролитном бою черкесы разбили полчища татар, третьи производят слово от аварского сар-кяс, что в переводе значит сорвиголова. Грузины издревле называли адыгов черкесами, возможно, по наименованию одного из древних адыгских племен – керкетов. Где истина – не знаю.

Затем нашел, что ожесточение, с которым я начал свои записки, часто уступает место тоске и печали, но это, впрочем, вполне естественно. И еще подумал, что ни один журнал не опубликует моих записок, ибо, помимо всего иного, я самым непочтительным и недозволенным образом отзываюсь о царях и великом князе Михаиле и князе Барятинском. Главное же – повествование мое изрядно затягивается. Конечно, мне и самому было бы горькой усладой вспоминать день за днем, но этак я и в два года не уложусь. А бумаги для побега будут готовы не позже, как через месяц. Volens nolens, скрепя сердце, опускаю многие, столь живо восстановившиеся в памяти, дорогие моему сердцу мелочи.

Главенствующим моим чувством во время продолжения пути с Озермесом была буйная радость от того, что я жив, могу дышать, смотреть на небо, на горные отроги, на отдалившееся от нас море. Я еле сдерживался, чтобы не прыгать, как молодой козел и ровным счетом ни о чем не мог думать. От долгих переходов стенали ноги, но я тщился не показать утомления своему легконогому вожатому.

К закату солнца следующего дня Озермес привел меня в аул, где умирал человек по имени Алицук. Имя это врезалось мне в память, хотя на деле страждущего звали иначе.

Издали слышалась приглушенная песня – мы направлялись в ту сторону. Как я узнал вечером, у шапсугов обычествовало помогать больному преодолевать страдания и отгонять смерть. Для цели этой в саклю к нему приходили толпой мужчины и девушки, пели, плясали, рассказывали веселые истории. Тяжело раненному первую ночь не давали засыпать. Возле входа клали лемех от сохи, и каждый, прежде чем войти, делал по железу несколько ударов, призывая на помощь всесильного покровителя кузнецов и воинов Тлепша.

Алицук не поправлялся, несмотря на все старания людей, и тогда они послали за Озермесом, в надежде, что певец сумеет вернуть умирающему силы. Здесь, на Ангаре, дабы больной скорее поправился, запрещается разжигать огонь иначе, как трением

дерева о дерево. А чтобы заразная болезнь не перешла из другого села, кто-либо из мужиков пропахивает сохой-рогулькой канавку вокруг деревни. В каждом краю своя магия.

О приходе Озермеса невесть как прослышали все. Мужчины и женщины выходили из сакль, с уважением здоровались и с Озермесом, и со мной. То, что так радовались приходу Озермеса, стало мне впоследствии понятно – горцы особо почитали джегуако, которым единственным были дарованы права неприкосновенности и осуждения словом любого человека, они хранили, передавая из поколения в поколение, исторические события, добрые дела и подвиги людей, сохраняли адаты, что для народа, не приобретшего или по каким-то причинам утерявшего письменность, имело огромное значение.

Я в немирном ауле робел и ощущал себя обманщиком и ловчагой. Вдруг за вражеского лазутчика примут? По моей просьбе Озермес объяснил, кто я. К моему удивлению и облегчению, глаза у горцев обрадованно потеплели. Успокоившись немного, отложил свои вопросы на будущее.

Нас проводили к умирающему. Войдя в саклю, я увидел на тахте бледного, седовласого, еще не старого человека с орлиным носом и запавшими, страдающими глазами. Больной не был черкесом, я это понял сразу. Когда он поднял веки, я спросил:

– Кто вы? Что с вами?

Он оживился, растрогался, протянул мне горячую руку и попросил сесть рядом. Звали его, как он сказал, Штефаном Высоцким.

– Сам бог послал вас ко мне,– сказал он.– Они очень стараются вернуть меня, но... я медик, уже бесполезно. Пока есть время, а его осталось мало, расскажу о себе. Прошу вас,– пути господни неисповедимы,– если вы когда-нибудь попадете в Варшаву, то в доме Василевского в Краковском предместье, это возле памятника Копернику, остались мои жена и сын, расскажите им... Вам не пришлось побывать в Варшаве? Вы много потеряли, это большой город. В Лазенках – дворец, там в парке статуи из белого мрамора при восходе и заходе солнца они становятся розовыми... В день святого Иоанна девушки гадают, бросают в Вислу цветы...

О чем это я? Это не нужно... Мы надеялись на Наполеона III, но пруссаки, Бисмарк, заключив с Россией военную конвенцию, помогли подавить наше восстание... Все началось с демонстрации. Студенты несли польские знамена. Вольность! Нех жие Польска! Виват! В студентов стреляли. Двадцать тысяч человек собрались на похороны убитых. И снова были выстрелы по безброжнему народу, ктуры сбирася для модлитвы...– Высоцкий в бреду заговорил по-польски, и я перестал понимать его. Придя в себя, он снова сжал мне руку:– Простите, я люблю Россию, я ненавижу только вашего царя. Вы достойный человек, раз вы с черкесами... На вас этот мундир, не нужно, снимите его, у меня есть бешмет, черкеска, папаха, возьмите их себе после моей смерти. Нет, нет, не благодарите... Раньше здесь были и другие поляки, мои товарищи. Если б вы только знали, как мне хочется снова увидеть Замковую площадь!– Он вдруг вскинулся: – Вы читали «Дзяды» Мицкевича? Там священник Петр, изгоняющий злого духа из Конрада, убеждает его, восставшего против бога, покорно принимать все посланное господом. Я этого не хочу, это неверно...

Высоцкий снова заговорил по-польски, потом умолк и забылся. Озермес заиграл на своем шичепшине*, но больной вряд ли что-нибудь слышал. Умер он на другой день, как я предполагаю, от лихорадки.

Я расспросил о нем и услышал в ответ, что в этом ауле он жил недолго, а до этого сражался за рекой Туапсе вместе с шапсугскими воинами. Одно было ясным – Высоцкому удалось бежать с родины после разгрома польского восстания князем Барятинским. Однако и здесь, на Кавказе, он не ушел от грозной десницы русского царя. Теперь, когда я вспоминаю чувство, с которым Высоцкий назвал меня достойным человеком, душа моя скорежи-вается от боли.

Озермес осведомился у меня, как хоронить Алицука – он был христианином и, наверно, останется доволен, если его предадут земле по обычаю христиан. Поневоле мне пришлось руководить похоронами, хотя несколько смущала мысль, что Высоцкий был

* Шичепшин – подобие скрипки.

католиком, а я православный. Однако, вспомнив фельдъегеря, лежавшего в одной могиле с горцами, я махнул рукой, прочитал над прахом бывшего польского повстанца православную молитву, а потом Озермес помог мне сколотить и водрузить над могилой крест.

Выполняя просьбу покойного, я стал переодеваться в его одежду. Когда воротник пахнущего чужим потом бешмета обхватил шею, я словно застыл, пальцы свело, и никак не получалось застегнуть пуговицы. Наконец я надел черкеску, нахлобучил папаху, затянул пояс – все пришлось впору. Выйдя во двор, посмотрел на Озермеса, он одобрительно кивнул. Мундир свой и фуражку оставил в сакле. Но должен, однако, признаться, что когда я снял с себя свою одежду, во мне что-то словно оборвалось. Мундир – тряпка, и все же будто пуповина была перерезана

В Варшаву я не попал, и вряд ли провидение когда-нибудь занесет меня туда. Но ежели кто-нибудь из прочитавших мои записки окажется в Польше, пусть не возьмет за труд и зайдет в Варшаве в Краковское предместье, в дом Василевского, что возле памятника Копернику, и расскажет с моих слов о том, как закончилась жизнь Штефана Высоцкого, которого шапсуги называли Алицуком. Мир праху его...

Двигаясь дальше, мы с Озермесом уже не спешили. Я глазел по сторонам, наслаждаясь безмятежным покоем окружающего и вполуха слушал своего спутника, рассказывающего о зверях и птицах, обитающих в здешних лесах. Аулы встречались чаще, мы заходили в сакли отдохнуть и всюду нас радушно встречали, все восторженно восклицали: «Аферим», когда узнавали, что я хочу жить с горцами, предлагали остаться у них, но Озермес вел меня дальше и дальше. Уходя из аула под добрые пожелания шапсугов, я со злой досадой думал, что мужики родного Троицкого вряд ли так обрадовались бы моему появлению, как эти чужие люди. Да и сам я, прежний, живя в Троицком и объявись там какой-нибудь горец со словами: «Хочу жить у вас», нисколько этим не был бы осчастливлен, лишь изумление и недоверие охватили бы меня.

Написал я сии строки, и отчаянная, звериная почти тоска по родным местам вдруг забрала меня. Глазом бы одним взглянуть

на избы Троицкого, сыскать сверстников своих – сотоварищей моих детских игр! Может и впрямь завернуть туда по дороге? Енисейский знакомец мой рассказывал, будто бы нынче некоторые помещики, опасаясь бунтов и неповиновения мужиков, наняли на Кавказе черкесов и те наводят ужас на жителей. Не приведи господь увидеть в Троицком горцев, вытягивающих крестьян поперек спины нагайкой или обнажающих на них кинжал!

Чем ближе я узнавал Озермеса, тем более привязывался к нему. Был он немногословен, сдержан, но за этим замечалась приязнь – наверно не ко мне лично, а вообще к людям, распространявшаяся и на меня. Ежели ему хотелось что-нибудь рассказать, он осведомлялся, расположен ли я слушать. Так, однажды, когда мы покинули утром какой-то аул, он спросил, угодно ли мне узнать предание, действие которого произошло в здешних местах. Я с удовольствием согласился.

– Во времена не столь давние,– неторопливо начал Озермес,– приехал сюда из Турции наиб* укреплять веру в аллаха. Приехал, был встречен как гость… День прошел, другой, и наиб объявил, что по велению султана, тени аллаха на земле, надлежит сосчитать, сколько шапсугов живет на берегу моря, а чтобы легче было считать, всем аулам следует сселиться в большие, по тысяче домов в каждом.

Прерву повествование, дабы пояснить: горцы имели пахотные земли и пастбища возле своих сакль, стоявших по этой причине не в ряд, как избы в русских селениях, а на расстоянии друг от друга. Сселиться – значило потерять пахотные земли и пастбища. Добавлю еще, что речь Озермеса была весьма красочна и много теряет в моем изложении.

– На переговоры к наибу отправились старейшина одного аула и с ним вместе уважаемый всеми белобородый старик. Наиб повелел отрубить старейшине голову, а спутника его приковать цепями к столбу. Долетела черная эта весть до сакли белобородого, и трое его сыновей оседлали коней. Не успели они выехать из аула, как их догнали двадцать джигитов, стали просить: возьмите

* Наиб – заместитель духовного лица.

нас, пожалуйста, с собой, мы вам пригодимся, на опасное дело собрались вы. Братья ответили, что джигитам лучше остаться, может пролиться кровь, а для чего проливать лишнюю? Подождите семь дней и ночей, если мы не вернемся, тогда ваше дело.

Джигиты вернулись, а братья поскакали к наибу. Слуги не хотели их впускать в саклю, однако братья настояли на своем, сказали, что приехали всего лишь задать несколько вопросов. Наиб спросил, кто они такие? Ответ был: шапсуги. Наиб спросил: чего они хотят? Ответ был: получить ответ на вопросы. Наиб разрешил спросить, и старший брат пожелал узнать, где старейшина их аула? Наиб ответил: старейшина отказался выполнить повеление самого султана, тени аллаха на земле, и за то казнен. Старший брат спросил у наиба, кто он? Наиб ответил, что он правая рука султана, да хранит его аллах. Тогда средний брат задал новый вопрос: а где живет султан? – Как,– разгневался наиб,– неужто вы не знаете, что великий султан, тень аллаха на земле, живет в Стамбуле.– Но по какому праву ты распоряжаешься здесь, далеко от Стамбула? – Наиб сердито напомнил, что султану подчиняются все верующие в аллаха. Тут течение беседы перебил младший брат. – Ты,– сказал он,– у нас гость. С каких пор гость начинает вести себя, как хозяин? И еще скажи нам, за что ты приказал приковать к столбу хозяина – нашего отца – Наиб закричал, что не желает больше слушать их. Братья направились к двери, но, выходя, напомнили наибу – до него сюда приезжал Сова...

Озермес умолк.

– Прости, я обскакал сам себя. Сперва следовало рассказать о Сове. Сова был шапсугом, но родился одноглазым уродом, в ауле испугались, решили, что он от шайтана, и хотели убить его. Родители пожалели сына и продали по дешевой цене туркам. Став взрослым, он поступил на службу к султану, приехал на родину и принес много зла, убивал во имя аллаха налево и направо. Пока ему самому не помогли отправиться на тот свет… Теперь дозволь мне вернуться к братьям. Направились они к столбу, к которому был прикован отец, а люди наиба схватились за оружие и загородили им дорогу. – Пропустите нас,– сказал старший брат,– дорога от аллаха, ее протоптали люди, по какому праву вы не разрешаете

нам ходить по ней?– Так приказал наиб, ответили стражники.– Но пойми,– стал объяснять средний брат,– это наш отец, какие же мы сыновья, если не поможем ему? Коли вы нас не пропустите, нам придется браться за кинжалы, а нам совсем не хочется проливать кровь.– Но мы тоже обязаны исполнить, приказание наиба,– ответили стражники. – Ладно, обождите, мы еще раз спросим у него... – Когда будете спрашивать,– вмешался младший брат,– объясните наибу, что он ошибся, видя перед собой трех шапсугов, на самом деле перед ним стояли и мы, и наших тридцать родственников, и сто друзей наших родственников.– Пошел посланец к наибу, передал ему слова младшего брата, и задумался наиб. Потом сказал:– Пусть заберут старика.– Сняли сыновья со столба отца, а руки у него от цепей протерты до кости. И когда проносили сыновья своего старика мимо сакли наиба, младший сын крикнул:– Эй, наиб, приготовься к встрече с Совой – он очень спешит поскорее увидеть тебя.– Не успело солнце дважды подняться и опуститься на покой, как наиб уехал и больше не приезжал к гостеприимным шапсугам.

Озермес умолк.

Я шел, размышляя о прелести своеобычного предания и о том, не с умыслом ли поведал его мне джегуако. Заметив, что он несколько раз искоса поглядел на меня, я догадался сказать:

– Славная история.

Глаза Озермеса потеплели, он промолвил:

– Младший брат не должен был вмешиваться в беседу старших, но его можно простить за хорошие слова.

Спустя несколько дней мы поднялись к далекому снежному хребту по глубокому темноватому ущелью, перешли через бурную речку по висячему мосту в небольшую долину, и тут чутье подсказало мне, что в этом ауле странствие наше закончится.

В кунацкой, куда мы вошли, нас встретил мужчина – статный, прямой, с высоким лбом, думающими, ушедшими под густые черные брови глазами, с усами и бородкой. Он был годами десятью старше меня. Более всего бросалось в глаза непринужденное достоинство, с которым он держался. Таким он и остался до самой гибели.

Выслушав Озермеса, Аджук приветствовал меня по-русски. Выяснилось, что он научился русскому у наших беглых солдат.

Знание русского языка некоторыми черкесами следует объяснить, для нас говор адыгов очень сложен – в нем около семидесяти звуков, каковых не имеется в других языках. Но изощренных на слух убыха или шапсуга русское произношение нисколько не затрудняло. И, кроме того, память у них была хваткой. Сынишка Аджука Закир, послушав как-то мой разговор с беглым солдатом Кнышевым, повторил, не понимая смысла, около десяти фраз, сказанных нами, и весело рассмеялся моей озадаченности. Сошлюсь еще на где-то вычитанное высказывание критика В. Белинского, который, познакомившись с повестью Казы-гирея в «Современнике», нашел примечательным, что черкес владеет русским языком лучше многих почетных наших литераторов. Удивительного в том, по-моему, мало,– давняя культура давала, видимо, о себе знать. В древности у шапсугов наличествовали и живопись, и ваяние. Почему искусство было потом утеряно, не знаю.

В средние века в здешних местах процветала работорговля, особенный спрос в Венеции, Генуе, Египте был на черкесских детей до двенадцати лет, а позднее – на девушек. Юные черкесские красавицы переходили от одного работорговца к другому, становясь, наконец, чьими-то наложницами или женами. Кроме рабов, отсюда вывозили рыбу, икру, меха, серебряную руду, самшитовое дерево, фрукты. Добавлю про бытие, знакомое мне, что многие шапсуги жили в бедности – у иных вообще не имелось рубах, и ходили они в износках. Сам я год с лишком носил черкеску, которая досталась мне от Высоцкого. Питание зачастую бывало скудным, причем ели не в определенный час, а когда желудок потребует своего. Голод и недород, несмотря на неоскудную природу, был нередким. Бань, какие у нас есть почти в каждой деревне, я не встречал – мылись в речке, женщины промывали волосы золой. Шапсуги были чистоплотны, например, мытье рук перед едой являлось обязательным, равно как и мытье ног после возвращения домой перед сном. Но я отвлекся.

Не стану описывать, как Закир, войдя в кунацкую с тазиком, вымыл мне ноги, как поразила меня обликом своим жена Аджука

Зара, накрывавшая на стол,– позже Аджук, смеясь, говорил, что я нарушил все приличия, упорно не сводя с нее глаз, Я тщился рассказать о себе Аджуку, но он останавливал меня движением руки и раз даже сказал:

– Твое – это твое.

Шапсуги интересовались людьми, но недолюбливали забираться в чужую душу и копаться в ней.

По очереди Аджук, Озермес и сосед Аджука рябой Аслан водили меня по лесу, показали пажити, поля, родники. Место для аула выбрали более чем разумно. До полудня, когда людям лучше работается, в долине не было жарко, огороды и сады поливали, не боясь быстрого испарения влаги, солнечные лучи попадали на поля, уже растеряв часть своей жгучей силы, а речка обегала аул стороной, прыгая по порогам, как по лестнице, и от каждого порога отходили оросительные канавы. Ниже аула речка низвергалась в ущелье водопадом. Стоило перерубить висячий мост, и чужаку будет нелегко проникнуть в аул снизу.

Вечерами мы беседовали о том, о сем, попивая прохладную родниковую воду. В камине потрескивали поленья, за стенами сакли рокотал водопад, шумел от ветра лес и от всего этого, от ласковых глаз Аджука, от грезившего о чем-то Озермеса струилось такое участие ко мне, какого я не встречал за свою жизнь. И разговаривали мы особо, непривычно – не спорили, не повышали голос, то, что говорил один, выслушивалось другими со вниманием, на вопросы каждый, и я тоже, отвечал, подумав. Так, наверное, беседуют мудрецы, далекие от всего суетного и малозначащего.

Я узнал, что большинство жителей аула, в который меня привела судьба или, вернее, Озермес, было пришлым – кроме шапсугов, здесь обитали еще семьи местного племени ачхипсоу и убыхи. Сородичи Аджука раньше жили на северной стороне Кавказского хребта, где-то между реками Адагум и Сулса, а когда русские войска стали приближаться, в ауле, прислушавшись к доводам Аджука, снялись с насиженного места, Многие выкопали кости предков и унесли с собой. Аул прошел долгими, трудными дорогами, несколько раз защищаясь оружием, до реки Туапсе, пересек речки Шепсы и Макопсе, остановился на весну и лето,

чтобы вырастить и собрать урожай, у реки Хакучинки, затем снова двинулся в путь и обосновался, наконец, в малодоступном горном ущелье на землях ачхипсоу, с которыми предварительно договорился. Добрались сюда не все, несколько человек отстали в самом начале пути, уйдя в абреки, около десяти семей, живших зажиточнее других, были не согласны с Аджуком и его сторонниками и обосновались под крылышком какого-то убыхского князя. Одним словом, то ли живым распорядком времени, то ли стараниями самого Аджука в ауле, каким я его застал, было больше согласия, чем в других, спесивого дворянина-орка, к примеру, здесь не было ни одного.

Я спросил у Аджука, почему они не поселились среди прибрежных шапсугов или убыхов и забрались так высоко.

– У твоего царя,– ответил Аджук,– давний аппетит на берег моря. Думаю, что, насытившись, он не пошлет своих солдат сюда.

Услышав от меня о больших, трехэтажных домах в Санкт-Петербурге, Аджук сказал:

– Когда мало земли – не остается ничего другого.

Я принялся втолковывать ему, что земли у нас очень много, но он покачал головой:

– Если б у царя хватало земли, он не отнимал бы нашу.

До сих пор не знаю, действительно он думал так или горько шутил. Скорее всего, последнее.

Я задал новый вопрос, предугадывая ответ Аджука.

– А что ты скажешь о султане?

Брови у Аджука сошлись.

– Ваш царь и ваши сардары честнее султана и пашей, они не называют нас братьями и не клянутся в любви к нам...

На пятый или шестой день моего пребывания в ауле Аджук спросил:

– Ты по-прежнему хочешь жить с нами?

– Да.

Мог ли я ответить иначе? Сделав первый шаг, оставалось только сделать второй. От прошлого я оторвался, настоящего еще не представлял, а о будущем не загадывал. Единственно возможным

было плыть по течению реки, в которую я так бездумно кинулся.

Аджук спросил, какое место мне больше нравится для постройки сакли, я замялся, и он посоветовал выбрать землю, граничащую с его усадьбой.

– Будем соседями,– сказал он.– С одной стороны Аслан, с другой ты. Хорошо! Саклю твою мы завтра построим. Тебе пока дадут: одну корову, пять овец и десять кур с петухом. А когда родит моя кобыла, ты получишь и жеребенка. Поле для посевов я тебе завтра покажу…

Я не понимал, на каких условиях все это получу и от кого, и совершенно не представлял, как буду пасти овец и корову, их и доить, верно, придется. Аджук добавил, что мне на первое время принесут еще сыр, муку и мед.

Принимая в аул нового жителя, шапсуги сообща строили ему саклю, и каждый понемногу выделял из своего хозяйства скот и провизию. Сколько и чего дать, сговаривались на сходе – мехкеме, которое, оказывается, собралось на другой день после моего появления. Но я еще не знал об этом, и, наверно, вид у меня был более чем растерянный, потому что, призадумавшись, Аджук вдруг сказал:

– Мы можем посоветовать вдовам взять тебя в мужья. Они посмотрят, какой ты, и одна из вдов тебя выберет. У нас пять семей без кормильца, женщинам одним трудно управляться с хозяйством.

Я молчал, окончательно смешавшись. Не мог представить себе сей картины: приходят женщины, оглядывают меня, одна из них молвит: «Что же, подходит, беру», и я иду за ней, дабы вступить в обязанности мужа и хозяина. Не дождавшись ответа, Аджук еле заметно усмехнулся глазами и сказал, что я прав – лучше обождать, пока какая-нибудь девушка не намекнет мне, что пришло время свататься к ней.

Не представляю, как у меня все сладилось бы, не промелькни в голове спасительное соображение. Я спросил, не нуждается ли Аджук в работнике. Он подпер голову рукой и задумался, внимательно глядя на меня. Потом глаза его потеплели, и он выпрямился.

– Рад услышать, что ты желаешь помочь мне. Без работников у нас справляются, но если ты возьмешься помогать мне на поле, доля урожая станет твоей, а мои женщины будут готовить и стирать твою одежду.

Женщинами в сакле Аджука были Зара и две ее младшие сестры – шестнадцатилетняя Зайдет и двенадцатилетний сорванец Биба. От царственной красоты Зары, ее пронзительных глаз под соболиными бровями я оробел даже, Зайдет промелькнула несколько раз так быстро, что я отметил лишь ее стройность и лукавый блеск глаз, а длинноногую Бибу вовсе принял за мальчишку.

Аджук предложил пристроить к своей сакле комнату для меня. Облегченно вздохнув, я поблагодарил.

Потом я узнал, что мое предложение на самом деле обрадовало Аджука, а другими жителями аула было воспринято как полное к ним доверие.

Утром выяснилось, что мой договор с Аджуком вовсе не отменял принятого на мехкеме решения – к сакле Аджука пригнали овец, стельную корову, которая вскоре разрешилась теленком, и разные люди нанесли кур, муки, сыру, меду.

Дав мне еще немного освоиться, в одно раннее утро Аджук протянул мне топор, и мы пошли рубить на дрова лес – я впервые приобщился к никогда не испытанному труду. В тот день, после того, как мы свалили две усыхающих на корню сосны и присели отдохнуть, я и задал мучавший меня вопрос, почему шапсуги столь радушно приняли к себе меня, которого, должны были почитать за своего клятого врага.

– Мы не испытываем вражды ни к кому – ни к русским, ни к туркам, – добродушно, как говорят с детьми, объяснил Аджук.– дурной человек не придет разделить нашу жизнь. К нам не раз приходили обиженные. А разве не обязанность человека помогать всем пострадавшим?

Если бы не мои сомнения лишенного твердых нравственных устоев человека и не леность моего сознания, я должен был догадаться обо всем сам, но так уж случилось, – понадобились простые слова Аджука, чтобы смятение души исчезло.

Несколько раз перечитывая исписанные моим корявым по-

черком страницы,– не завидую тому, кто будет разбирать его,– я ловил себя на мысли о том, как воспримет читатель, хотя бы такой просвещенный, как мой енисейский знакомец, нравы и обычаи шапсугского племени, поверит ли он мне. Общество наше, особенно провинциальное, издавна относится к сочинителям с подозрительностью, видя в них не только взломщиков установленного порядка, но и обманщиков, вроде цыган, продающих полудохлую кобылу с надутым воздухом животом. Какая-нибудь мелкопоместная шваль, берясь за книжку, обязательно произносит: «Поглядим, поглядим, как писаки пытаются нам очки втереть». Отсюда, наверно, у сочинителей, чувствующих недоверие к себе, пристрастие к ссылкам на признанные авторитеты. Вот и сейчас я живо представил себе недоверчивые глаза енисейского знакомца, услышал его приятный, но преисполненный сарказма голос: «Так уж шапсуги и принимали нашего брата с распростертыми объятиями, так уж и признавали эти магометане заповедь о любви к ближнему своему». Что ж, усилю свою позицию и я цитатою из авторитетной статьи Л. Я. Люлье. Муж сей, рассказывая про общее мехкеме шапсугов, абадзехов, убыхов и других адыгов, состоявшееся в 1841 году,– Аджук был в то время ребенком, а автор сих строк еще не родился – приводит тогдашний дефтир, в котором имеется такая статья: «Всем беглым и выходящим из России давать убежище, мусульманам, пришедшим для помощи против врагов черкесского народа, оказывать всякое содействие, обращаться к пришлым дружески и, если нужно, то для устранения всякого недоверия – выдавать им своих дётей в аманаты*».

Попрощавшись со мной, Озермес ушел. Я с грустью спросил, когда мы свидимся, на что джегуако ответил: друзей помнят всегда, и он, когда вновь навестит эти края, не забудет повидать меня.

Началась новая моя жизнь. Тосковал ли я по прежней, по привычному ее укладу? Скучать было некогда – я работал на поле, рубил лес, ходил на зверя и ловил рыбу, учился говорить по-адыгски, жадно, в охотку познавая неведомый мир, в котором не

* Аманат – заложник..

было самого, пожалуй, страшного для человека – принуждения в том его обличии, которое я знавал прежде. Об этом я снова подумал, когда Аджук познакомил меня с двумя беглыми солдатами, живущими в ауле,– Кнышевым и кунаком Озермеса Ильей.

На мой вопрос, как им живется здесь, тихий, видимо, испуганный моим появлением Кнышев пробормотал:

– Дак ведь, вашбродь, кому как гленется, попервой оно, конечно, вам внове покажется, но не обижают, живем мирно...

Горластый великан Илья перебил его и, оглушая голосом, закричал, что жить тут хоть и дымно, но сытно, и буза имеется в изобилии.

Оба женаты на вдовах – Кнышев на молчаливой, старше его годами, миловидной маленькой женщине, имевшей дочь. Жена Ильи была крепкой, не по-черкесски крутобокой, быстрой в движениях и, надо думать, проворной в любовных утехах. В аул Илья пришел сам, принес на плече медную пушку – она валялась во дворе его, подле сакли, со всеми сразу сошелся, варил и пил чуть ли не ведрами бузу и даже жену стал поколачивать. Мехкеме наложило на него штраф, и ему посоветовали либо перестать колотить жену, либо оставить ее и взять другую. «Ладно,– заявил он,– раз у вас нельзя, не трону больше». К нему относились с почтением из-за имени: Алия – Илья было вторым именем бога грома Шибле, и из-за невероятной, бычьей силы. Догадаться, откуда Илья родом, я не смог. Иногда он нажимал, как волгари, на «о», иногда говорил по-сибирски «че?». Я спросил, из каких он краев, но в ответ услышал: «Я и тутошный, я и тамошний, и где я ходил, меня давно нет». Скорее всего был он или беглым солдатом, или сбежавшим с каторги преступником, или вольным бродягой, каких на Руси много.

Илья зазвал меня и Кнышева к себе – отпраздновать наше знакомство.

Пока Илья жарил оленье мясо, – жене сего важного дела он не доверял,– Кнышев, осмелев, разговорился:

– Два года, вашбродь отбарабанил я в денщиках. Капитан мой, извиняйте, конечно, был спереди картина, а в середке скотина... Имущество его, сколь сумею, на лошадь навьючу, остальное на

себе несу. Верст двадцать пройдешь – привал. Другие солдаты ранцы долой и наземь. А я бегом к барину, завтрак подавать. Пока подам, пока он поест, собирай снова вьюки, а батарея, глянь, и поднялась. Идешь голодный, подбираешь где ветку, где поленце, чтобы вечером огонь развести. К воде на привале тоже не пробьешься, другие солдаты не пущают, пока сами не напьются. А отстанешь – казачий разъезд наскочит, и ну нагайками тебя, нагайками!.. Они ж завсегда позади ездят, чтобы солдатики, не дай бог, к дому не повертались...

Я слушал, не перебивая, хотя все это было мне так знакомо и так, слава тебе, господи, далеко теперь от меня. Однако был у меня другой интерес – я ожидал, что Кнышев поведает мне о том, как однажды надоела ему рабья жизнь и он дал стрекача от нее. Но Кнышев молчал. Тогда я спросил, как он перебежал к черкесам. Ухмыльнувшись, он признался:

– Нелегкая помогла, вашбродь. Биваком мы стояли, они наскочили в темноте, кто-то меня огрел дубиною аль прикладом, не знаю досель, свой или чужой. Я и загремел с обрыва. Тут уж надумал, стал кричать: братцы абреки, возьмите меня к себе! Так и попал. В яме посидел, не без того, конечно, потом сказал, что с ними жить хочу, и прибился к берегу.

Илья внес оленьи шашлыки, уселся, разлил по мискам из кувшина бузу и первую миску преподнес мне, сказав, чтобы я благословил трапезу. Сам он был уже навеселе.

– Будьте здоровы,– пожелал я.– Мир этому дому,

Илья заголосил:

– Пей до дна, пей до дна!

– Ты уже готов?– спросил я, возвращая миску.

– Только вхожу в плепорцию. Спасибо кувшину, что размыкал кручину!

– Так и не скажешь, откуда ты родом?– спросил я.

– А я позабыл, где родился. Да и береженого бог бережет. Царское око видит далеко, а ты, не в обиду будь сказано, ахвицер бывший, кто знает... Кныш тоже зверек ненадежный. А черкесов я люблю, им доверяю. Кунака, хоть режь на куски, не продадут. В свое время немало ихнего брата я положил, меня за то черти в аду

на крюк повесят за седьмое ребро.

Илья произнес последние слова с тем выражением лица и голоса, с каким отличившиеся солдаты говорят: «За это уж дело мне беспременно Егория дадут». И я не мог понять, жалеет он о содеянном или хвастается им. Кнышев вздохнул.

Мы пили бузу, ели оленину. В голове моей зашумело. Илья, усмехаясь чему-то, смотрел на меня. Потом спросил:

– Хошь, сказку расскажу?

– Рассказывай, только побыстрее, а то мне идти пора.

– А ты не спеши, на тот свет завсегда успеешь, Значит, так: было или не было, а служил я в солдатах.– Он согнул в локте левую руку, а правой ударил по ней пальцами, как по струнам, и загорланил:

Погляжу я в тот конец,
Старшина идет подлец,
Старшина идет подлец,
Вора-писаря ведет,
Вор-от пишет в три пера
Государские дела,
Нас запишет в некрута
На будущи года!

Это присказка была, а сказка еще впереди. Служил я, значит, в солдатах. В форту тоска смертная. Лихоманка людей с ног валит, а полковник, что над всеми нами начальствовал, по фамилии Кругомстой...

– Как, как? – переспросил я.

– Кругомстоем солдаты его прозвали, по-настоящему Крузенштерном он был. Так вот, стало быть, Кругомстой этот все смотры нам делал, строй ужасть как любил. Наш батальонный приспособился болящих солдат спиной к стене ставить, чтобы не падали. А ну, братцы, ишшо по одной!

Илья ухмыляется, ровно бы паясничая, и я не знал, правду ли он взялся рассказывать или сочиняет. В ротах у нас всегда находился какой-нибудь любитель складно соврать.

Заметив мой взгляд, он спросил:

– Чё ты на меня вытаращился?

– Ты когда в форту служил? Еще в сороковом году, что ли?

– В аккурат!– он расхохотался.– Обожди, спрашивать опосля будешь... Значит так, с главного теперича начинаю: велел однажды Кругомстой наш пленного добыть, посулил за то медаль и рому от пуза. Я и вызвался. Пошел в лес, хожу, птичек слушаю, тропки высматриваю, выбрал одну поутоптаннее и пошел по ней. Расчет правильный сделал, вышел я к аулу, залег в кустах, наблюдаю. Детишки, гляжу, бегают, бабы ихние рубашки мужнины в речке полощут, мужик один за сохой идет, быков погоняет. И чего-то расхотелось мне пленного брать, труд его рушить. Одначе про ром вспомнил и думаю: не-ет, шалишь, от дареного не отказываются. Сграбастал я пахаря,– здоровый был мужик, пока связал его, потом изошел. Взвалил на спину и понес... Кругомстой от радости света не взвидел. Черкеса допрашивать начали, он молчит, его по уху да в погреб, чтобы в сырости и в холоде призадумался, а мне почет: сижу, миска в руках и унтер в нее рому наливает. Сколько-то выдул, унтер спрашивает: может, хватит?– Лей,– кричу,– не жалей, ром государский, не твой! Я и счас здоров пить, а тогда.. С бочонок, поди, усидел. Все бы хорошо, не придумай Кругомстой построения – медаль мне на грудь вешать. А я, братцы, нрав такой имею – нахлестаюсь если, всех любить начинаю, каждую букашку, можно сказать. И когда полковник прицепил мне медаль, я и его полюбил. Обнял и цалую. Кругомстой нескладный, длинный, что верста, я, сами видите, мужик не хлипкий, он упал, я на него повалился, и все цалую, цалую, солдаты с хохоту дохнут, ахвицеры меня стаскивают с полковника, я упираюсь...

Кнышев, часто моргая, во все глаза смотрел на рассказчика.

– Чтобы долго не томить, закончу: посадили меня за поцалуи мои в погреб, где черкеса пленного держали. Полюбил и черкеса, обнял, поцаловал, прощения попросил, сказал, давай кунаками будем, наклюкаемся вместе, а помрем если, не беда, нас на том свете Петр-ключник с чарой примет у входа в рай и опохмелиться подаст. Черкес мне толкует, что буза у него в ауле, здесь с собой нету. Лады говорю, пошли в аул...

Илья хлопнул себя руками по коленям.

– Ушли мы с ним ночью, камни в стене расковыряли и ушли. Очнулся я, где нахожусь, не пойму, воды попросил. Они мне бузы. Выпил, и опять насуслился. Ну ее, думаю, службу такую, на которой и полковника цаловать не дозволяют…

– Выдумал все, небось?– спросил я.

Он захохотал.

– Умора с тобой! Может, сбрехал, а может и нет.– Насмешливо поглядев на меня и Кнышева, он пропел:

Очи на очи глядят,
Очи речи говорят

– А тебя в самом деле Ильей зовут?– поинтересовался я.

– По правде коли,– посерьезнев вдруг, ответил он,– крестили меня Афанасием, а уж потом, на Волге-матушке, взял я себе другое имя. С дружком одним сменялся.

– Сменялся?– удивился Кнышев.

– Ага, так надо было.

– Ты с сорокового года все у черкесов жил?– спросил я.

– Повсюду жил, земля велика... Попал я в горы Афанасием, а вернулся, что оборотень, Ильей... Чё, братцы, загадал я вам загадку?

– Никаких загадок тут нет,– сказал я,– ты не Афанасий и не Илья, ты леший.

– Ай, молодец!– в восторге заорал он.– Уважил, ваше благородие! Кныш, наливай! Назюзюкаемся, братцы.

Глядя на Илью, я подумал, что таких удальцов не счесть среди русских людей. На все они способны – и на подвиг безумно храбрый, и на неоглядное самопожертвование, и на разгул дикий. Вся беда в том, что сила, из них бьющая, в условиях нашей жизни часто растрачивается попусту, направляется не туда, куда нужно было бы.

Встреча эта на долгое время стала последним напоминанием о моем прошлом. Отношения наши с Кнышевым и Ильей были такими же добрососедскими, как и со всеми другими жителями

аула. И только. Словно бы сговорясь, мы избегали вспомнить былое. Правда, однажды Илья остановил меня и спросил: «А ты не немец случайно, Яшка? Сумнение имею – почему не пьешь?». И захохотал на все ущелье. Рассказал же я подробно об Илье и Кнышеве потому, что без рассказа этого может стать непонятным их поведение в последние дни аула. Но до этого было еще далеко.

Надобно обрисовать и фамилию, среди которой я жил и отношения с которой у меня складывались по-родственному. Начать, само собой, следует с главы семьи Аджука. В ауле его называли «языком народа», как самого уважаемого, разумного и красноречивого человека. Это не было титулом, званием или должностью, дающими какие-либо преимущества. На общих народных собраниях – мехкеме к мнению «языка народа» прислушивались с особым вниманием, что, впрочем, не мешало спорить с ним и не соглашаться. У шапсугов исключалось преимущество одного человека над другим или одной, пусть большей части народа над остальной. Единственной силой у них была сила слова. Возможно поэтому парни, собираясь вместе, стариковали, принимая на себя вид поживших, многоопытных людей. Какое-либо решение, введение нового адата считалось принятым если не оставалось ни одного неубежденного. Иные мехкеме из-за этого продолжались по году и более. Вспоминая об этом сейчас, я невольно думаю об енисейском исправнике – тираническом владыке сих мест, о наших сельских сходках, на которых мироед, поставив ведро сивухи или запугав несогласных, всегда проведет свое, а строптивых парней, сунув взятку чиновнику, спровадит в солдаты. Как часто приходится слышать о задушенных или утопленных младенцах – молодые солдатки, лишенные на четверть века своих мужей и сошедшиеся с кем попало, пытаются, убивая свое дитя, спастись от позора, но большею частью бывают сысканы и осуждены. В газетах пишут о каждом таком случае, но что в сем толку?

На время военных действий Аджук избирался еще и вождем, однако и тут он имел право распоряжаться лишь во время боя. Как-то я поделился своими воспоминаниями с названным уже

знакомцем в Енисейске. Он спросил,– сколь характерно это для нашего мышления, – как вознаграждаются усердствования «языка народа» или вождя-военачальника, ведь у них остается меньше времени на обработку земли, Я объяснил, что вознаграждение заключается в удовлетворении, которое чувствует избранный от сознания того, что он помогает людям. В случае долгого отсутствия из-за общих дел поле «языка народа» поочередно обрабатывается соседями, а семью его поддерживают провизией. Платы же «язык народа» или военный вождь не получает, даже трофеи делятся на всех поровну, ибо в бою жизнью каждый рискует одинаково. Знакомец мой нашел сие несправедливым. Я, вспылив, заявил, что при таком мнении ему не остается ничего другого, как кричать «ура» императору, князю Барятинскому и иже с ними.

Дома Аджук бывал со всеми ровен, никогда не повышал голоса. На первый взгляд казалось, что он держит жену, сына и свояченицу на известном расстоянии от себя, но я не раз улавливал нежность в глазах его, особенно когда он посматривал на жену.

Зара с самого начала относилась ко мне с сочувствием и лаской, как-то сказала даже, что, не будь Аджука, она вышла бы замуж за меня. Он, услышав, обхватил пальцами рукоять кинжала и сделал свирепое лицо, глаза его при этом смеялись, и все-таки при Заре я чувствовал себя, как мальчишка при строгой старшей сестре. В решительном характере ее было нечто мужское. Недаром на голову Заре несколько раз надевали папаху. Таков у шапсугов обычай – высшая похвала для мужественной девушки, если ее увенчают папахой и наивысшее одобрение скромности лихого джигита – покрыть ему голову женской шапочкой. По рассказам Зайдет я знал, при каких обстоятельствах Зара вышла замуж за Аджука.

После гибели их отца мать, поручив детей соседкам, бросилась со скалы в водопад. Зара и Зайдет тоже надумали броситься на камни, а Бибу решили оставить в лесу, чтобы кто-нибудь подобрал ее. Биба хныкала, хотела спать. Неподалеку от водопада Зара сделала ей ложе из сухих листьев, и она заснула. Сестры поднялись на скалы, покрылись белыми покрывалами. – Обнимемся и прыгнем, сказала Зара. Зайдет испугалась и стала говорить, что

убивать себя грех, ведь они еще не родили детей. Зара предложила сесть на самый край обрыва и заснуть – во сне они не заметят, как упадут. Они, правда, уснули, но не упали. Разбудило их солнце. – Видишь,– сказала Зайдет,– аллах не хотел нашей смерти.– Кое-как они спустились вниз и, спускаясь, увидели несколько белых покрывал висящих на скалах – Не смотри,– сказала сестре Зара. Они пошли за Бибой. В лесу кто-то громко говорил. Это были русские солдаты. Они варили на костре пищу. Один, старый, держал на коленях Бибу и кормил ее. Зайдет струсила, а Зара вышла из кустов и взяла у солдата Бибу. Он очень удивился, когда увидел Зару и потом Зайдет. Солдаты накормили их и ничего им не сделали. Один только, молодой, хотел погладить Зару по щеке, но она так на него посмотрела, что он отскочил, а другие солдаты стали хохотать. Сестры ушли и в тот же день догнали своих. Заре пришлось заменить младшим сестрам родителей. Родственников у них не осталось. Аджук, размышляя, кому бы из холостых джигитов поручить заботу о сиротах, спросил у Зары при Зайдет: – Как по-твоему, кто пойдет на охоту для тебя? Зара преспокойно молвила: – Но почему ты спрашиваешь о других, у тебя ведь тоже нет жены. – Он замолчал, вроде бы шел себе спокойно по ровному месту и вдруг споткнулся. Они стали смотреть друг другу в глаза и разговаривать так быстро, будто, скользили по откосу в пропасть и спешили договорить до конца, прежде чем ударятся о камни.– Ты хочешь готовить еду для меня?– А ты хочешь есть еду, приготовленную моими руками?– Разожги костер и покорми сестер!– Зайдет уже взрослая, приказывай и ей. – Зайдет, собери сучья для костра! – крикнул Аджук.– Слушаюсь,– сказала Зайдет, взяла на руки Бибу и пошла в лес и нарочно ходила долго, чтобы Аджук и старшая сестра могли побыть наедине, а когда вернулась, их не было... Аул тогда находился в пути, и все-таки вечером сыграли свадьбу. Мужчины убили трех оленей, женщины наготовили еды, и при свете костров все долго плясали и веселились.

Как я уже поведал, историю эту до подробностей мне рассказала Зайдет. Она, если можно так определить наши отношения дружила со мной, охотно отвечала на вопросы, но разговаривала только в присутствии старшей сестры, а когда той не бывало

дома, лишь издали поглядывала на меня своими полными лукавства и веселья глазами. Ей исполнилось шестнадцать, она была мягче Зары, но казалась мне еще ребенком.

Самая младшая из сестер – Биба была сорванцом из сорванцов. Девичьей застенчивости она пока не приобрела, раздевалась при всех и в одной рубашке прыгала вместе с мальчишками в речную заводь. Груди у нее еще не обозначились, соски только темнели сквозь рубашку, как две пуговицы. Большеглазая, она обещала стать красивее своих сестер. Вот кто постоянно должен был щеголять в мужской папахе.

И, наконец, самый младший в семье – Закир. Он стал самым мне близким. Заночевав однажды в моей комнате, он постепенно перебрался совсем, начал называть дядей, и в ауле его стали считать моим воспитанником, хотя по-настоящему, в полном смысле слова я не мог называться его воспитателем – аталыком, ибо на полное обеспечение не брал. Со мной он чувствовал себя свободно, мог вдруг забраться мне на плечи, обо всем спрашивая, болтать часами и сопровождал повсюду. Отца он побаивался. Отец для него где-то высоко, над обоими нами, а я вроде няньки, на которую даже можно было рассердиться или обидеться. У шапсугов родители, особенно отец, были суровыми к своим чадам, иной раз и по имени их не называли, зато ласково обращались с племянником, соседскими мальчишками, вообще с детьми. Дядя считался столь близким племяннику или воспитаннику, что адат налагал на него обязанность мстить за нанесенные им оскорбления. До пяти лет Закир жил на женской половине с матерью, потом его перевели к отцу. Весной он уронил на ногу отцовский кинжал, острие вонзилось в стопу, и мальчишка заревел. Аджук молча уставился на сына, выждал, пока тот не перестал стенать, выдернул кинжал и сказал, будто камнями бросая:

– Мужчина плачет только в горе. Если он льет слезы от боли, значит, он шакал, а не мужчина.

На этом воспитание не кончилось. Вечером того же дня Аджук рассказал мне две истории, которые предназначались стоявшему рядом со мной Закиру.

– Старик один, Хатук звали его, умирал. Приехали из сосед-

него аула мужчины проведать, попрощаться. Боли у Хатука были такие, будто его кинжалом кололи, но он встретил друзей с улыбкой. – Кто вам сказал, что я болен?– Хатук смеялся до тех пор, пока ему не поверили. Гости тоже посмеялись, пошутили и сели на коней. Жена спросила Хатука: – Для чего ты обманул их, ты ведь мучаешься? – Он не сумел ответить, был уже мертв. За гостями послали гонца – вернуть их, они только успели выехать из аула... А еще я помню двух друзей, один был высокий, как сосна, по имени Хушт, другой маленький, как гриб, имя ему было Гучипс. Оба славились как шутники. Хушт, вытянув руку, говорил;– Гучипс иди, я тебя от дождя ладонью прикрою.– А Гучипс предупреждал: – Эй, осторожнее, не поцарапай головой облака! – И еще уверял:– Когда-нибудь и я достану до неба. – В одном бою Хушта прикололи к земле шашками, а Гучипса подняли на пики. Умирая, он посмотрел на Хушта и, смеясь, прохрипел:– Какой ты, оказывается, сверху маленький.– А Хушт, ухмыльнувшись, отозвался:– Хоть ты и достал головой до неба, это не в счет, ноги-то у тебя болтаются, не достают до земли...

Переносить боль, как шапсуги, я не научился. Наверно, выдержка и терпение должны прививаться с детства. Когда я заговорил об этом с Аджуком, он сказал, что я ошибаюсь, думая, будто мужчины терпят боль. Терпеть – значит уступать, поддаваться, от этого можно даже умереть. А надо сказать себе: мне не больно, и тогда боль перестанешь ощущать, она сама уступит тебе.

В тот вечер, когда он это промолвил, мы сидели у сакли, в тени, на ветерке. Зара и Зайдет провеивали зерно, и Закир сидел подле меня, ожидая, пока я кончу обстругивать ножом палку, чтобы из нее получился кинжал. Биба, как обычно, где-то пропадала. Получив кинжал, Закир ринулся сражаться с крапивой. Я сказал:

– Хороший у тебя сын. В нем продолжится твоя жизнь.

Аджук погладил свою вьющуюся бородку, он любил любопрения, уверяя, что хороший спор для ума, как точило для кинжала.

– То, что ты сказал, Якуб, несправедливо. У султана сто детей

и больше, а у меня один. По-твоему выходит, будто один человек взамен своей жизни получит сто, другой – одну, а бездетный – ни одной.

– Так и есть, – подтвердил я. – В чем же несправедливость? Каждый может иметь столько детей, сколько захочет. Скажи, а почему у вас никто не имеет гаремов?

Аджук развеселился.

– Этот вопрос задают все – и русские, и турки, и франки... Один мудрый человек хорошо ответил. Его ответ – мой ответ. Во-первых, я люблю свою жену, во-вторых, иметь много жен слишком дорого, в-третьих, слишком шумно. Ты знаешь, у нас мужчина может жениться на сестре умершей жены, а женщина стать женой брата покойного мужа. Это разумный обычай – вдовец и вдова не остаются одинокими. Но мы не докончили разговора. Ты, Якуб, был бы прав, если б человек умирал, и дети рождались после него, а так – и я живу, и мой сын живет...

– Но все-таки жизнь ему дали ты и Зара,– не согласился я.

– Нет. Мы лишь передаем жизнь один другому, а дали нам жизнь они,– он показал на небо, на горы и на водопад.

Я не нашел, чем возразить, и умолк, наблюдая за гибкими движениями Зайдет. Безотносительно к ней подумал, что придет и мое время, кто-то мне полюбится и у нас будут дети, которым я передам полученную мною от своих родителей жизнь.

Той осенью я стал заглядываться на женщин, ходить на вечеринки – джегу, где можно было послушать песни, поплясать, а потом хоть до утра гулять с понравившейся тебе девушкой, если она на это соглашалась. По совести сказать, мне нравились в ту пору все девушки вместе, каждая по-своему. Лишь одна особо обращала на себя внимание, да не только мое, ею любовался весь аул. По имени Чебахан* с огромными, неописуемо огромными серыми глазами, отражавшими все оттенки неба, легкая, со скользящей поступью, она словно бы принадлежала и земной жизни, и какой-то другой, нам, людям, неведомой. Шутник, старший брат Чебахан как-то поставил ей на голову, одну на другую миски с водой,

* Чебахан – сероглазая

и она прошла по аулу, ни капли воды не расплескав. Но на парня рассердилась за его проделку. В отношении джигитов к Чебахан проскальзывал оттенок суеверного почитания. И я, сколь бы ни напрягал своего воображения, не сумел бы представить ее своей или кого-либо другого женой. Попробуй-ка ты, читатель мой, представить собственною супругой будущую богоматерь.

До чего все же причудлива человеческая натура! Не могу объяснить себе, как уживались у адыгов преклонение перед женщиной со своевластием над ней. У Чебахан была младшая сестра, подружка Зайдет, такая же стройная и приветливая. Отец продал ее не то турку, не то сирийцу-торговцу, появившемуся как-то в ауле. У торговца были с собой ткани, браслеты и ожерелья для женщин и ружья для мужчин, если не ошибаюсь, штуцеры. Девушка была отдана за два ружья. Аджук, которому я излил свое негодование, с безразличием сказал: каждый сам себе хозяин, он не продал бы ни Бибу, ни Зайдет, однако это вовсе не означает, что другие обязаны поступать так же. Сколько я ни спорил с ним, к согласию в тот раз мы не пришли.

Одним весенним днем мы с Аджуком пошли мотыжить кукурузу. Было непривычно душно, листья на деревьях обвисли, как перед ненастьем. Еще поднимаясь по склону, я обратил внимание на духоту и провел ладонью по рукаву черкески – послышалось слабое потрескивание, стало быть, приближалась гроза. Посмотрел на горный хребет – из-за него выползала туча. Не беда, можно пересидеть дождь где-нибудь в ельнике.

Мы сняли черкески, засучили рукава бешметов, подоткнули полы и взялись за мотыги. Ростки кукурузы были крепкими, сочными, но после дождей пахота засорилась дикими травами.

Неподалеку Аслан мотыжил кукурузу на поле, посреди которого стоял высокий дуб.

Туча, перевалив через хребет, наползла на аул. Она была иссиня-багровой, не по-обычному округлой, и вниз, прямо в поле медленно спускался сизый отросток, похожий на рукав огромной черкески. Лицо опаляло сушью. Я бросил мотыгу и пошел к Ад-

жуку. Он стоял, держа за туловище крота и рассматривая его. Крот шевелил остренькой, вытянутой хоботом мордочкой и перебирал широкими передними лапами, ладошки их были повернуты наружу и назад, безволосые, красноватые, они напоминали ладони человека. Подслеповатые глаза крота располагались не в верхней части морды, как у всех других животных, а внизу, наверно, в темноте так удобнее видеть.

– У нас думают, что кроты поедают корни фруктовых деревьев,– сказал Аджук,– но это неправда. Если б они поедали корни, фруктовых деревьев давно не осталось бы. Кроты едят мышей.– Он бережно опустил крота на землю и спросил: – Пойдем укрываться от ливня?

Мы забрались под ближайшую елку. Аджук о чем-то задумался, утирая рукавом пот с лица. Я смотрел на Аслана. Мотыга проворно ходила в его руках. Приземистый, могучий, он казался квадратным – хоть на ноги поставь, хоть положи на бок – все одинаково. Шрамов и рябинок на его лице издали не разглядеть было. Осенью Аслан нашел медвежонка, решил связать его и принести домой. Медвежонок заплакал. На Аслана налетела медведица. Прежде чем он проткнул ее сердце кинжалом, она изуродовала ему лицо и ободрала грудь и руку. Парни потом шутили, что медвежонок закричал, испугавшись рябого лица Аслана.

Птицы смолкли, цикады перестали трещать. В угнетающем затишье таилось что-то тревожное.

– Аслан! – позвал Аджук.– Поднимайся сюда!

Аслан выпрямился, помахал мотыгой, что-то сказал и продолжал работу.

– Трудолюбца воспитала Гошнах, – сказал Аджук о матери Аслана.

Из мохнатого, черного, похожего на рукав черкески отростка тучи, повисшего над нами, вылетела яркая, длинная, с изломом, как у штыка, молния, острие ее вонзилось в одинокий дуб на поле Аслана. Я на мгновение ослеп. В уши ударил гром – короткий, оглушительный, как пушечный выстрел, и гулкое эхо покатилось по ущелью.

Когда ослепление прошло, я увидел расколотый надвое дуб.

На упавшем отрубе ствола плясали язычки пламени, Аслан же скорчился на ростках кукурузы. Аджук вскочил, я за ним, и мы побежали вниз по склону. Аслан лежал на боку, с подвернутой рукой, лицо его почернело. Рядом валялась мотыга с оплавленным, тоже почерневшим лезвием и обугленной рукоятью.

Аджук повернул Аслана на спину, встал на колени и приложился ухом к его груди. Потом закрыл ему глаза и сказал:

– Шибле взял Аслана к себе.

Смерть от молнии считалась у шапсугов наивысшим блаженством, сообщать об этом близким полагалось быстро, радостно, и хоронили погибшего на том месте, где его настиг удар молнии, с танцами, под веселые песни.

Пока мы осматривали тело Аслана, туча, не пролив и капли, стала уходить в сторону далекого моря.

Мы надели черкески и папахи. Аджук направился к аулу, а я постоял немного, глядя на изменившееся от черноты лицо Аслана и думая о непостижности этой мгновенной смерти и о том, как правы шапсуги, верящие, что будущего не отведешь, ибо оно предопределено всесильным роком.

Я поспешил за Аджуком и догнал его, когда он уже приближался к сакле Аслана.

– Для чего он понадобился Шибле?– с недоумением проговорил Аджук и остановился.– Аслан умер в поле, во время работы, а такая смерть не менее почетна, чем гибель в бою. Я думаю – если мы не станем приплясывать, а скажем об Аслане, как о павшем воине, Шибле на нас не рассердится.

– Шибле не рассердится,– сказал я, одобрительно поглядывая на опечаленное лицо Аджука.

Он часто удивлял меня. Как и многие другие шапсуги, Аджук не был строгим ревнителем веры. С первого века черкесы стали принимать христианство, и в седьмом веке Вселенский собор подчинил шапсугских священников – шогенов грузинскому мцхетскому патриарху. Кресты тех времен, называемые джиор или джур* похожие на русскую букву «твердо», до сих пор стояли

* Джиор – от грузинского джвари (крест)

в лесах. Но христианскую религию шапсуги восприняли частично, приспособив ее к своим языческим представлениям о людях и мире. Им, воспевавшим женщину, очень пришелся культ богоматери, как они называли ее, Мерем. Не могу не отвлечься, чтобы не сказать о сибирских чалдонах. Многие уверяют, якобы русский народ особо религиозен, крепок в своей вере православной и ретив в исполнении обрядов. Но тут,– сужу по селам, в которых мне случалось побывать,– единственные признаки веры – наличие икон в избах да привычка креститься перед едой и после.

С конца XV века христианство у черкесов стало исчезать. Под натиском ислама шапсуги кое-что взяли от него, но в основном продолжали почитать более близких им богов – главного хлебопашца Созериса, божество пахотных волов и своего ближайшего покровителя Хакусташа, могучего кузнеца Тлепша. Аджук, не нарушая явно тех или иных верований, всегда руководствовался собственным здравым смыслом. Я видел, что ему совсем не хочется притворяться, будто он радуется гибели Аслана и смеяться в лицо его несчастным, ничего еще не знавшим матери и жене.

Найдя неподалеку от сакли Аслана пригорок, мы поднялись на него и принялись звать жену Аслана Хацац. Она появилась во дворе и вопросительно на нас посмотрела.

– Вернулся ли домой Аслан?– протяжно спросил Аджук.

Хацац не ответила. Я увидел, как лицо ее напряглось, а глаза остановились. Она ничего не понимала – ведь муж не уходил на войну.

– Пришел ли Аслан с поля?– снова спросил Аджук.– Он там, его взял к себе Шибле. Ты, наверно, слышала гром...

Хацац вскрикнула и бросилась, закрыв лицо руками, в саклю.

– Обрадовал,– мрачно произнес Аджук.– Пойдем возьмем лопаты.

Умерших хоронили в день смерти, ибо тем сокращался переход покойного на тот свет, да и близким не так долго доставалось плакать. Женщин на кладбище не всегда брали, мне это объясняли тем, что у них нежное сердце, им труднее видеть, как родного человека засыпают землей. Думаю, что женщин не брали на

кладбище по иным причинам – с телом покойного всегда бежали, кладбище находилось выше аула, на горе, и женщины, особенно старые, поневоле задерживали бы бегущих. Возможно, тут сказывалось и влияние ислама, от многого отчуждавшего женщин. Похороны затягивались, если надо было дожидаться прихода родственников и друзей покойного из других аулов. Аслана же следовало похоронить как можно скорее, чтобы Шибле не разгневался, ожидая своего избранника.

Только мы вырыли под дубом могилу, как со стороны аула показались люди, поспешавшие на похороны Аслана. Впереди всех торопились Гошнах и Хацац.

К нам подошел один из джигитов – Салих. В отличие от других горцев он был грузен, но ступал мягко, и движения его были по-медвежьи проворны. Самым примечательным выглядело лицо – все в шрамах, из которых смотрели большие, всегда добро улыбающиеся глаза. Шрамы были следами схватки с несколькими противниками. Очнувшись, Салих дополз до дома и сам, глядя в блестящий медный таз, зашил себе раны

– Шибле?– спросил Салих, кивнув на тело Аслана,

– Он взял его к себе на наших глазах,– ответил Аджук.

Салих посмотрел на дуб – отруб дымился, но огонь уже угасал.

– Валлах!– Салих одобрительно покачал головой. – Повезло человеку, он и не заметил, как вознесся.

Начался похоронный обряд.

– Хвала Шибле, могучему, ослепительному!– весело причитала старуха Гошнах. – Какое счастье выпало моему сыну...

Хацац вторила ей:

– Блажен Аслан, счастливец Аслан!..

На грудь покойному положили прядь волос, срезанных с головы Хацац, и, опустив его в могилу, стали засыпать землей,

Кто-то запел веселую песню, которую поют на празднествах и свадьбах. Все подхватили припев:

– О-ри-да-да!

Танцы и песни закончились.

У поля остались только мы с Аджуком. Он посмотрел на бро-

шенные среди зеленых стеблей кукурузы мотыги и спросил:

– Закончим прополку?

Я кивнул и снова снял черкеску. Мы обвязали от солнца головы платками, засучили рукава бешметов и взяли мотыги. Вскоре я ощутил голод. Дойдя до края поля, присели отдохнуть. Я достал из-за куста торбу с едой и кувшин.

Подул ветерок. Я подставил прохладе разгоряченное лицо. Еще пахло гарью от подожженного молнией дуба. Неподалеку от него чернела свежая земля могильного холма.

Было все это словно вчера...

Крайне тосковал я в ауле по книгам. Однажды приснилось, будто сижу за столом, на столе толстый фолиант, и страницы сами переворачиваются одна за другой. От няньки своей я наслушался в детстве сказок и былин. Те, что сумел вспомнить, пересказывал Закиру, он слушал их с жадностью. Иногда к нему присоединялись Зайдет и Биба. Аджук пошутил, что в сакле у них завелся свой джегуако.

Отсутствие письменности, разумеется, мешало горцам подняться на более высокую ступень развития, и они это понимали. Как-то я сидел у плетня, читая одну из немногих своих книг, читанных-перечитанных, и на книжку упала тень. Я поднял голову – Салих, наморщив лоб, старательно вглядывался своими ясными глазами в открытую страницу. Лицо его, иссеченное шрамами, болезненно передергивалось от стремления хоть что-нибудь понять.

– Прости,– пробормотал он.– Я не взял позволения подойти...

– Ты хотел спросить?

– Это по-арабски?

– Нет, по-русски.

Глаза его словно потухли, вздохнув, он отошел.

Так, чередою, шли дни, и в один из них я узнал, что полюбил, или, коли уж быть преданным истине, открыл, что давно люблю. Преинтересно случилось мое открытие, будто бы порох взорвался

после долгого шипения фитиля – на джегу я встретил Зайдет, которую видел немногим более часа назад дома, но, встретившись с ней взорами здесь, уже не смог отвести глаз от ее тонкого лица. Она, подобно мне, тоже не отводила взгляда, и мы, безмолвно сговорясь, вышли из сакли и куда-то пошли, перебираясь через ручьи, продираясь сквозь заросли, в исступленном стремлении к единой, общей для нас обоих цели. На светлом от звездного мерцания лугу Зайдет посмотрела пристально на меня и пустилась бежать к лесу. Когда я настиг ее, она, оглядевшись, кинулась к огромному дубу, в мгновенье ока вскарабкалась на нижнюю ветвь и исчезла в листве. Почему-то обрадовавшись, я полез на дерево тоже. Думаю, что будь поблизости снеговая вершина Дзитаку, мы полезли бы на нее. Улыбаясь Зайдет заговорила, стала упрекать меня в медлительности – состариться можно было, дожидаясь, пока я соизволю обратить на нее внимание. Я возразил, что в этом ее вина – мне приходилось ждать, пока ей исполнится восемнадцать, а она так медленно подрастала...

Мы раскачивались на ветвях, как птицы, разговаривали и смеялись так, что нас наверняка слышал весь аул. Мы не касались друг друга, не целовались. При высокой любви не торопятся, ибо настоящая любовь – частица вечности. Спешит, с жадностью хватая подаренное судьбой, лишь тот, кто не умеет любить прочно. Вспоминая, однако, то время, я казнюсь и тем, что глаза мои не открылись раньше, и тем, что мы с Зайдет не соединились в ту звездную ночь.

Наутро аул узнал, что Зайдет берет Якуба в мужья. Договорились о дне свадьбы, и мы с Аджуком принялись строить новую саклю.

До нашей долины доносились вести о приближении войск русского царя: они прошли реку Шепсы, они перешли через Хакучинку, они опустошили долину Шахе, они достигли реки Саше. Это были вести из того, навсегда оставленного мною прошлого, возврата к которому, как я думал, не было. И меня, заполненного любовью, слухи эти не затрагивали вовсе.

В день нашей свадьбы, когда я помогал Аджуку свежевать оленя, прибежал, запыхавшись, Закир и сообщил, что из леса вышел и появился в ауле кровник – просить усыновления.

Перепоручив оленя женщинам, мы пошли к дому старухи Сурет, сына которой год с лишком назад убил парень, явившийся сегодня в аул. Звали убийцу, как сказал Аджук, Шумафом, мать его была шапсугского племени, отец – ачхипсоу. Возле двора Сурет толпился народ. Я вошел в саклю. Аджук задержался возле старика Едыге и Салиха, стал о чем-то толковать с ними,

Сурет сидела в углу кунацкой на тахте прикрыв голову черным платком, и, всхлипывая, причитала:

– Сыночек мой, где ты? Не осталось мужчин в нашем роду, некому отомстить твоем убийце. Видишь ли ты черного врага своего? Как посмел он войти сюда? Перевелись в ауле отважные…

Возле Сурет стояли, тоже плача, женщины.

Шумаф высокий парень в ободранной грязной черкеске и порванных чувяках, с папахой, шерсть которой свалялась в комки, обросший, с запавшими щеками, стоял, сложив на груди руки, с опущенной головой. Оружия при нем не было. Мужчины расположились в ряд у другой стены, положив руки на рукояти кинжалов и мрачно поглядывали на кровника. Вошел Едыге, которого поддерживали с двух сторон Аджук и Салих. Старику подали треногую табуретку. И без того согнутый, усевшись, он казался совсем маленьким. Но глаза его были не по-стариковски ясными. Посмотрев на Шумафа и Сурет, Едыге сказал:

– Нет горя больше твоего, дочь моя, ты лишилась сына, и некому позаботиться о тебе.

Старуха подняла платок, впилась очами в Шумафа и закричала:

– Вот он! Убейте его!

Шумаф не дрогнул, лишь еще ниже опустил голову. Но я знал от Аджука, что зашедшего в саклю не убивают. Добавлю, что не только под кровом не могло свершиться убийство, но и вообще в присутствии женщины. А ежели мужчины где-либо в лесу или в поле вступили бы в схватку, достаточно было завидевшей это женщине приблизиться и бросить меж ними платок, как даже самые заклятые враги тотчас засовывали кинжалы в ножны.

– Говори, Шумаф, – велел Едыге. – Мы слушаем тебя. Шумаф поднял голову, обвел всех нас взглядом, отошел от стены и глухо

заговорил. Он очень волновался и, как многие горцы в минуты особых переживаний, заговорил возвышенно, словно декламируя:

– Вам ведомо, что я убил. О, горе мне! Принес я смерть сюда и мести заслужил. Вот грудь моя, не буду защищаться. Кто смел, беритесь за кинжал...

Слова его прозвучали вызывающе, и мужчины переглянулись.

– Слышите?– возопила Сурет.– Он сказал, что вы трусы. Убейте его, убейте!

– Продолжай, Шумаф,– с хладнокровием произнес Аджук, строго поглядев не Сурет. Я не мог понять, действительно ли старуха так жаждет мщения или требовать смерти убийце полагалось по обычаю. Не знал я и причины ссоры Шумафа с сыном Сурет. Кто из них больше был виновен? Искренне раскаивался Шумаф или измытарился и его выгнал из лесу голод и одиночество?

– В той сакле, где родился я,– звонко сказал Шумаф,– два воина – отец и брат мой. Враг уже точит шашки и забивает пули в ружья. Кто защитит Сурет, где муж ее, где сын?

Мужчины молчали. По-видимому, Шумаф не раскаивался и явился лишь потому, что к горам подходили русские солдаты. Как это будет оценено мужчинами? Все пришли в состояние напряженности.

– Ты убил моего сына, ты!– снова закричала Сурет, и женщины принялись громко плакать. Едыге покачал головой и показал, чтобы они умолкли.

– Мать,– сказал Шумаф, обращаясь уже прямо к Сурет,– возьми меня, и стану на пороге я, как сын твой и как воин. Я кончил.– Он снова отступил к стене и опустил голову на грудь.

Мужчины одобрительно загудели.

– Хорошо сказано,– громко произнес Едыге.

Сурет упорно молчала.

Едыге оглянулся на Аджука.

– Я,– медленно заговорил тот,– был другом отца погибшего. Он был мне, как брат. Кто откажет мне в праве мстить? Может, я ошибаюсь?

– Твоя правда, – важно промолвил Едыге. – Ты имеешь право мстить прежде других.

– Я отказываюсь от мести, – сказал Аджук. – Я думаю, что Сурет не должна оставаться бездетной.

Едыге покосился на Салиха.

– Я,– степенно произнес Салих,– сосед Сурет, но я тоже отказываюсь от мести.

– Кто хочет мстить за кровь? – спросил Едыге.

Мужчины молчали. Едыге пригладил свою длинную седую бороду и уставился на Сурет.

– Согласна ли ты, мать, взять Шумафа в сыновья? Старуха не отвечала. Искривленные пальцы ее теребили платок. Женщины склонились к ней, что-то зашептали.

– Пусть подойдет,– тихо, но внятно проговорила она.

Шумаф подошел к Сурет, встал на колени и опустил голову в ее подол. Стянув платок, она накрыла Шумафа. Оба заплакали. Потом она расстегнула дрожащими пальцами бешмет, рубаху и выпростала высохшую грудь. Шумаф прикоснулся губами к соску. По лицу его текли слезы.

– Благослови вас аллах,– сказал Едыге.– Ты мать из матерей, Сурет, ибо ты милосердна и мудра. Ты, Шумаф, доказал нам свое мужество, будь же верным сыном для своей новой матери. Пойдемте, люди, пусть они останутся одни.

Салих помог старцу встать и повел его к двери.

Мы с Аджуком вышли тоже. Толпа расходилась. Только Едыге стоял еще возле изгороди.

– Аджук,– спросил я,– а если кто-нибудь взялся бы мстить?

– Никто на это не имел права, мы не члены семьи Сурет. Ты, верно, догадался, что Шумаф не считает себя виновным, мне он сказал, что убил, защищаясь. Из-за чего они схватились, мужчины не знают, спрашивать об этом теперь уже поздно было, да и не принято – о покойном, даже если он был виноват, плохо не скажешь. Все шло к примирению, но всяко бывает – или кровник неудачно выразится, или кто-нибудь вспылит, оскорбит его, разжалобившись от криков и плача матери... Я поэтому заранее договорился с дедушкой Едыге и с Салихом. Я и Салих нарочно

объявили, будто имеем право на мщение. Кто стал бы соваться после нашего отказа, оскорблять этим нас?

– Заглядывать вперед никогда не вредно,– сказал Едыге. – Сказано: говори, подумав, садись, осмотревшись, а если споткнешься утром – будешь спотыкаться до вечера.

– Еще говорится,– подхватил Аджук,– отшвырнешь носком, потом поднимешь зубами.

– А пропустив голову коня, не хватайся за хвост,– прибавил, ухмыляясь в бороду, Едыге.

В ауле любили потягаться в знании пословиц. Стоило только кому-нибудь начать.

– Но старуха-то как упряма,– проговорил Аджук.– Воистину, хлестнешь коня – прибавит ход, хлестнешь осла – не сделает ни шагу. У нее нрав, как у муфтия, она тоже считает, что адат – это камень, он должен давить. Но адат не камень, а кровля сакли, прикрывающая от непогоды. Если столбы прогнивают, их надо менять, чтобы кровля не упала и не придавила взрослых и детей.

– Ты прав насчет обычаев,– сказал Едыге,– но не прав, когда так судишь о Сурет.

– Кто не хулим, тот подобен покойнику,– не согласился Аджук.

– Да, но женщине прежде мужчины отдают почет. Сурет – мать, ей надо было переступить через свою боль. Не знаю почему, но все в жизни рождается и обновляется через боль.

Рассказанное мною, дозволю себе предположить, вызовет у читателя вопросы. Дабы предупредить их, следует кое-что разъяснить. Причем, догадываюсь, иные отнесутся к моим словам недоверчиво. А сказать я хочу следующее: кровная месть у черкесов наблюдалась не столь уж часто, как представляется нам, они понимали, что поощрять оную означает способствовать истреблению людей, но, невзирая на это, в числе узаконенных адатом прав, помимо права на частную собственность, сохранялось право ношения оружия с использованием его в случае оскорбления, особенно матери и вообще женщины. Признавая справедливость действия убийцы, адат одновременно признавал и возможность личного отмщения за убийство отца или брата, за пролитую кровь, за то,

что семья убитого лишилась кормильца. Убийца сразу же уходил из своей сакли, скитался по лесу, а в это время родственники и друзья его налаживали примирение. Чаще всего, учитывая вину оскорбителя, договаривались о передаче его семье определенного количества скота, чтобы она не нуждалась, лишившись кормильца. Не менее часты были случаи, когда убийца, как и Шумаф, просил у матери покойного усыновить его, брал на себя бремя забот о семье убитого и нес его, как сын, в течение всей дальнейшей жизни. Нам сие представляется странным и непонятным. Напоминаю в связи с этим об убийствах в нашей деревне. Примеров предостаточно, сосед убивает соседа во хмелю, из-за клочка земли, во время ограбления, конокрадства – Сибирь полна каторжниками, осужденными за убийства. При этом обе семьи – и убитого, и убийцы остаются без кормильца. Да и какая мать у нас согласилась бы усыновить убийцу ее родного сына?

Вечером к нам собрался весь аул. При полыхании костров и факелов плясали во дворах моей сакли и сакли Аджука, плясали на лужайке, на дороге. Мужчины и женщины неслись во всеобщем бурном загатляте, а потом Зайдет и я прошлись вдвоем в плавном зафаке, и любимая шептала мне:

– Я счастлива, я так счастлива, Якуб мой....

Появиться на свет божий стоило одной лишь ради этой радости – слушать только мной различимый, трепещущий от любви голос женщины.

Поздно ночью мы ушли в свою саклю и притворили дверь. Зайдет направилась на свою половину. Ласкать жену полагалось только в темноте, на ее постели. Я выждал, чтобы Зайдет разделась, разделся сам и перешагнул через порог.

И в эту ночь у нас ничего не произошло, мы пролежали, обнявшись, до рассвета, привыкая друг к другу, а когда привыкли, уже поднялось солнце.

Зайдет начала одеваться.

– Зачем только пришел день?– пробормотал я.

Она рассмеялась, поцеловала меня и выбежала за дверь. Я тоже улыбнулся и задремал.

Все вокруг словно сговорились мешать мне вести записки. Соседский мужик пристал, как репей, чтобы я пристрелял ему ружье – турку, а оно заржавлено было донельзя, и я провозился до вечера, а на другой день лил пули. В селе меня почитают докой по ружейной части. Потом помог хозяину сена нанести. И тут еще меня затребовали в Енисейск. Я встревожился, не раскрылись ли случайным образом мои планы насчет побега. Знакомец донести не мог, но... Тревога оказалась ложной – мне предложили переехать в Енисейск, пойти в межевую канцелярию письмоводителем. К удивлению чиновников, я отказался и, откланявшись, ушел с облегченным сердцем.

Ожидая карбаза, приметил издали у болотистой речушки Мельничной седобородого старика. Согнувшись, опираясь на посох, он сидел на чурбаке и глядел, как мужчины стягивают в воду долбленку. Я подошел ближе. Босые, распухшие ноги старика были усеяны мухами, подле лежала на земле сума. Он повернулся ко мне... Та же загорелая до черноты шея, тот же запавший рот и морщинистый лоб, и ворот рубахи под седой бородой расстегнут, можно не смотреть – на груди его наверняка растут седые волосы. В который раз уже!.. То он поднимал меня, сжимая бока мозолистыми ладонями, то стоял, печальный, держа на поводу коня, то лежал, откинув руку, недвижим и теперь снова сидит передо мной, опираясь на посох и поглядывая с добродушием.

– Чё, паря?– спросил он.

Оторопь понемногу оставляла меня.

– Из каких краев, дедушка?

– Во де-ка живу, за рекой.

– А родом откуда?

– Дедко издалека пришел. А ты, барин, небось, ссыльный поселенец?

– Как ты угадал?

Он ухмыльнулся.

– Зимусь забегал в избу погреться поселенец один, обличием в тебя, но тот не ты был, у того, окаянного, глаз тяжелющий, глянул на телка, телок бряк и сдох. Во глаз, господи спаси и помилуй!

Посмотрев друг на друга, мы оба засмеялись, и наваждение мое вконец растаяло. На земле тьма-тьмущая похожих стариков. Да разве только стариков? Наверняка и на Кавказе, и в Малороссии, и еще где-то горюют и мучаются такие же неприкаянные, как я, похожие на меня Кайсаровы.

Показался карбаз. Попрощавшись, я поспешил к пристани...

Бывают ночи и дни, которые собираются вместе, как одинаковые камешки, разбросаешь их, и не угадать, какой был подобран первым. Порой же провидение насыщает одни сутки событиями так, что они растягиваются в длину всей человеческой жизни. Майский, двадцатого числа день, и следующий за ним, равно как разделившая их ночь, не только часто вспоминались мне, но и снились во всех трепещущих подробностях, ибо за те сутки с небольшим я и вознесся до самой высокой любви и скатился до самого дна человеческого ничтожества.

Проснулся я стремглав. Вроде бы толкнул кулаком кто-то.

Зайдет, пританцовывая, подметала двор. При взгляде на нее меня охватило блаженное одурение. Все, что нужно делать в доме, буду делать сам, решил я. Хотя мужчины не занимаются женскими делами, моему поведению в ауле не удивятся – здесь принято первые два года не разрешать молодой невестке никаких работ, разве что прибрать постель и подмести комнаты и двор. Но у Зайдет – ни свекрови, ни золовок. Почувствовав мой взгляд, она проворно обернулась, пушистые волосы переметнулись с плеч на спину и светло карие глаза загорелись лаской. От этого свободного, открытого проявления ее нежности меня снова взяла оторопь, как от ничем не заслуженной похвалы. Наверное так же бесхитростно любят своих самцов оленьи самки. Лукаво улыбнувшись, Зайдет опустила голову, и я снял с сука грушевого дерева кувшин для подмывания и с каменным лицом прошел мимо нее в сад к отхожему месту.

Когда я умылся и надел черкеску, завтрак – хлеб, сыр, мед и кислое молоко,– уже ждал меня на маленьком столике. Мы принялись за еду, и я потребовал, чтобы она не отворачивалась от меня.

Зайдет все-таки привычно прикрывалась рукой, стараясь не показать мужчине, как жует. После завтрака, сполоснув из поданной мне миски с водой рот, я встал, протянул руки и прижал Зайдет к себе,– она тоже прильнула ко мне. Я поцеловал ее липкие от меда губы. Она, вздрогнув, закрыла глаза. Заре она, конечно, об этом не расскажет, та пристыдит ее за такую вольность.

Талия у Зайдет была столь тонкой и гибкой, что, перегнувшись назад, она легко достала бы руками чувяк. Каждое, еще не осуществленное движение мое – душевное или телесное – тотчас ею воспринималось. Только я хотел заставить себя оторваться от ее рта, как она медленно отвела назад голову и открыла глаза. Я впервые заметил над ее верхней губой легкий, почти неприметный пушок.

– Скорее бы ночь!– шепнул я в розовое, прозрачное ухо Зайдет.

Она опустила ресницы, потерлась об меня грудью и отозвалась, как эхо:

– Скорее бы...

С сожалением отпустив ее, я пошел за мотыгой. Во дворе Зайдет догнала меня и протянула торбу с едой.

Иной раз, особенно когда за окнами избы завывает пурга или же при мертвенном ледяном свете звезд в лесу трещат от мороза кедры, мне кажется, что того утра никогда не было и я выдумал его, дабы хоть ненадолго забыться от нищей пустоты своей нынешней жизни.

Мы с Аджуком молча проработали на поле почти до полудня. Стало жарко. Я опустил мотыгу и утер с лица пот. Аджук повернулся ко мне:

– Якуб, подходят русские.

Я кивнул, предположив, что речь идет о беглых солдатах и снова взялся за мотыгу.

Когда мы присели отдохнуть в тени кизилового куста, Аджук пояснил:

– Они поднимаются от Ардилера, их много, с ними пушки.

Все еще не понимая, я отпил воды из кувшина, заткнул его кукурузным початком, поставил в тень и тогда только всполохнулся.

– Они сюда идут?

– Они торопятся почему-то.– Аджук устроился поудобнее и вытянул ноги.– Я послал на рассвете Салиха и еще троих разузнать...

Я задумался. Потом спросил, почему десятилетие назад черкесы не воспользовались войной Турции с Россией, осадой союзниками Севастополя и не напали на нас, объединившись с англичанами и турками? Аджук не усмехнулся, чтобы не ставить меня в неловкое положение: горцы никогда не подчеркивают своего превосходства над глупым собеседником, лишь в карих глазах его промелькнули искорки, и он мягко объяснил:

– Я не раз уже говорил тебе, что не хотим ни с кем воевать, что ни русского царя нам не надо иметь на своей шее, ни турецкого султана, ни английской королевы, хотя она и женщина. За дружбу с турками и англичанами пришлось бы платить свободой...

Наши военные историки и даже сам Р.Фадеев отдавали в этом смысле должное черкесам. Горцы не допускали на побережье турок, англичан и французов, и в те годы наше кавказское командование смогло перебросить свои войска с береговой линии в Грузию, на турецкие рубежи и не беспокоиться за тылы. За одну лишь эту, неважно в силу каких побуждений, пусть даже невольно оказанную России услугу я, будь царем, отблагодарил бы черкесские племена, посчитав их союзниками, и навсегда оставил бы в покое...

– Я был еще мальчишкой, – сказал Аджук,– когда к нам приехал посланец от королевы Виктории. Я мыл ему ноги, как гостю, подавал еду и слышал, о чем он говорил с нашими старейшинами.– У глаз Аджука собрались морщинки, и я угадал, что ему смешно вспоминать.– Гость был толст, как бурдюк, но старался сидеть прямо, словно его посадили на кол, он не притронулся к еде и только курил трубку. А говорил одно, воюйте с русскими, мы вам привезем оружие, а потом вы станете счастливыми от того, что править вами будет королева. Его спросили: а она красивая? Он разозлился, даже глаза покраснели. С ним был слуга – худой, смуглый,– хозяин не разрешил ему находиться вместе с собой в кунацкой,– мы накормили слугу во дворе, он много ел, пил много

бузы, а потом плакал. И говорил: не верьте моему господину, если вы подчинитесь королеве, вас всех привяжут к жерлам пушек и разорвут ядрами...

Аджук задумался, потом сказал:

– Плохо.

– О чем ты?– спросил я.

– Разрозненно живут племена, каждое само по себе, каждый аул для себя. Одна рука, а пальцы друг друга не чувствуют, вот их по одному и отрубают. И князья черного тумана в глаза убыхам напускают – кто перед царем выслужиться хочет, уговаривают на колени встать, кто в Турции для себя выгоды ищет, говорят: уезжать надо, там вы, как в раю, будете жить, гурии вас ласкать станут и прохладный шербет подавать...

Он умолк и насупился.

Мы снова принялись за работу. Поглядывая временами на Аджука, я заглушал разгоравшуюся во мне тревогу надеждой на то, что отряд, поднимавшийся от моря, пройдет мимо аула, не заметив его. Как странно, я, столько раз принимавший участие в сожжении аулов, всего лишь два года спустя, стоя на поле с мотыгой в руках, не мог вообразить всей полноты надвигающейся опасности. «Обойдется, пронесет», – решил я.

Мотыга Аджука звякнула. Он с досадой покачал головой, наклонился, поднял камень и зашвырнул за кусты кизила. Ощутив мой взгляд, он улыбнулся мне, как улыбаются близкому, родному человеку. Братьев ни у него, ни у меня не было, и в случае смерти одного из нас оставшемуся в живых полагалось взять на себя заботу о семье свояка. Обязанность эта, мною не исполненная, хотя на то были свои причины,– вечный укор мне.

Аджук вдруг отрывисто произнес:

– Я бы хотел иметь еще двоих сыновей. Даже троих. Даже пятерых, если родятся...

– Пусть исполнится твое желание,– пробормотал я, не придавая значения его словам.

Могила Аслана заросла травой и алыми маками. Гошнах приходила сюда часто, и я слышал, как она, улыбаясь сквозь слезы, прославляла могучего Шибле, забравшего к себе ее сына.

Я вспомнил свою мать, денно и нощно убивающуюся по мне в далекой Калужской губернии, но не казнясь, как-то мимоходом. Голова моя была занята иным – я прикидывал, сумею ли осенью приобрести у заезжего торговца бешмет или, как его называли шапсуги, сай для Зайдет. Прочитавший эти строки упрекнет меня в черствости и будет прав. Однако такова человеческая натура – мы забываем о матерях, когда живем привольно, словно бы подразумевая, что от этого лучше живется и нашим матерям. Единственно, чем я выразил в те годы свое отношение к матери, было письмо, отправленное с торговцем,– он обещался сдать его на почту в каком-нибудь цивилизованном местечке.

Вскоре вернулись лазутчики. К полудню подошел с мешком за плечом Салих.

– Новости есть?– спросил Аджук.

– Есть.

– Сядем, поговорим.

Мы отошли за поле, к ельнику, и сели. Салих пристроился рядом, бросив возле себя мешок.

Сидя на корточках, он поглядывал своими светлыми, улыбающимися глазами то на меня, то на Аджука, степенно дожидаясь вопросов.

– Все вернулись?– спросил Аджук, покосившись на мешок – нижняя часть его была в высохшей крови.

– Все. Русские войска идут вверх, к урочищу. После ночного привала они разделились. Около двухсот воинов направляются к нам.

– К нам?– переспросил Аджук.

– Да, так подслушал Алия. Он еще услышал, что на Кбааде ожидает свое войско брат русского царя. Они послали вперед свои глаза – казаков, те увидели издали наш аул. Когда казаки возвращались, мы их перехватили. Трое ушли, а четверо вот...– Салих поднял, взяв снизу мешок и вытряхнул из него на траву отрезанные головы – три усатые, с бородами, одну, как мне сперва показалось, с бритым лицом.

У меня от неожиданности и от ужаса дыхание сперло. Никогда дотоле мне не приходилось и молю господа бога, дабы никогда

более не пришлось увидеть голову, отрезанную от человеческого тела. Лица тех, что были с бородами, напоминали и отставного унтера Тимофея, когда-то впервые поведавшего мне о черкесах, и фельдфебеля Кожевникова, и многих других старых солдат из моей роты, а безбородый чем-то был схож со мной самим.

Окровавленные головы, валявшиеся на траве, принадлежали тому прошлому, от которого, как думалось мне, я навсегда ушел. Сейчас оно возвращалось во всей своей грозной неумолимости, но я вновь не хотел верить приближению лихолетья и отвернулся, чтобы не видеть остекленевших глаз казаков. Салих посмотрел на меня и перевел взгляд на Аджука. Я тоже повернулся к свояку. Он протянул руку, взял за чуб безусую голову и принялся рассматривать чистое юное лицо мертвого, его открытые подернутые белым налетом глаза. Брови над переносицей убитого сошлись, словно от боли. Аджук провел пальцем по складке, но она не разгладилась.

– Молодой,– сказал Аджук,– усы еще не выросли, на девушку похож. Еще что?

– Мы встретили убыхов, они рассказали: аулов по берегу больше не осталось, в верховьях Хакучинки собралось семь сотен воинов – будут сражаться, ачхипсоу тоже решили воевать, некоторые думают напасть у Ардилера...

Аджук бросил голову к остальным, от удара о землю зубы щелкнули. Я уставился на свояка со странным чувством неузнавания. Или, ежели выразиться иначе, я узнавал в нем нечто непонятное и чуждое мне. Равным образом для меня не вязались воедино светлые, детски ясные глаза Салиха с содеянным им – ведь это он, поди, отрезал головы убитым землякам моим.

– Все?– помолчав, спросил Аджук.

– Все,– подтвердил Салих.

– Когда они могут подойти к аулу?

– Они катят пушку. Наверное, перед заходом солнца.

– Лес рубят?

– Нет, они спешат.

Аджук посмотрел на солнце и встал.

– Время еще есть. Пойдем, соберем мехкеме. Закопай головы, Салих.

Окровавленные головы казаков – пластунов, валяющиеся на траве, напоминали о низменности земного бытия. Мне уже стало известно, что солдаты – по-видимому, батальон – торопятся к аулу, и все же, идя за Аджуком, я думал не о том, что судьба казаков уготована и мне, а совершенно об ином – не купить ли осенью для Зайдет янтарное ожерелье вместо сая? Таковы мы – люди. Всегда, под покровом ночи и средь бела дня, мы ежечасно твердим: смерть неотвратима, но поразит она его, а не меня. Они уйдут, а я буду. Не в том ли наше спасение, залог нашей живучести?

Вскоре мужчины собрались на мехкеме. Спокойные, бесстрастные, казавшиеся от этого сумрачными, они внимательно выслушали лазутчиков и Аджука. Сведения о действиях русских войск и положении на Западном Кавказе были, разумеется, отрывочны и достоверны лишь в общих чертах. На деле происходило следующее.

В начале 1863 года все земли от моря до реки Адагум и от Кубани до Белой земли были заняты русскими войсками. К весне описываемого мною года горцы были изгнаны со всего северного предгорья Кавказского хребта от реки Лабы до моря и с южного склона, от устьев Кубани до реки Туапсе. Отряд Геймана прошел затем вдоль берега, к югу, тем же путем, каким вел меня Озермес, до устья реки Саше, построил здесь на месте Навагинского форта новое укрепление, названное в честь отряда Даховским. Генерал Гейман принялся за отправку в Турцию хакучинцев, шапсугов, псху и ачхипсоу, непрерывно прося у графа Евдокимова новых и новых перевозочных судов. Непокоренными оставались лишь убыхи, часть хакучинцев и ачхипсоу, жившие в котловине реки Мдзымта. Сюда, по направлению к верховьям Мдзымты, на урочище Кбаада, направились: со стороны Гагр отряд генерал-майора Шатилова, со стороны Сухума – отряд генерал-лейтенанта князя Святополк-Мирского, от Малой Лабы к перевалу – отряд генерал-майора Граббе и от реки Соча – отряд генерала Геймана. В отряде сем находился, как я вскоре узнал, мой бывший полк. Отмечу попутно, что Офрейн столь отличился, что имя его после завершения боевых действий на Кавказе попало даже в учебник для

кадетских корпусов. Я вычитал в учебнике такую фразу: «Истребление аулов между Пшехою и Белою было далеко не закончено, и полковник Офрейн с успехом продолжал начатое дело». Как видим, Офрейн стал уже полковником. К концу военных действий чины раздавались, как пасхальные пряники. О последней моей встрече с Офрейном я еще поведаю. Что он делает теперь, мне неизвестно. Надо думать, нажил состояние, вышел в отставку генералом и где-то в Ревеле или в Тифлисе, поглаживая лысину, рассказывает внукам о своих боевых подвигах.

Причину, по которой великий князь так спешил собрать войска на урочище Кбаада, я так и не узнал. Возможно, хотел сделать приятное своей невестке, жене брата Николая, принцессе Ольденбургской Александре, к которой, как судачили, был неравнодушен – тезоименитство ее отмечалось 21 мая.

Мехкеме решило защищать аул. Большинство согласилось со словами Едыге:

– Разумнее снова уйти. Но куда? Там,– он показал на сверкающие под солнцем снежные вершины, – ничего не растет. А умереть лучше дома, чем за морем.

Восемь семей вознамерились уйти. Их не отговаривали, не разубеждали. И они не пытались убедить остальных последовать за ними.

К Аджуку подошел Едыге.

– Если всё обойдется,– сказал он, – я попрошу, чтобы мне помогли вспахать и удобрить склон, что за сосняком, хочу яблоки посадить. Я достал чужеземные яблоки – они большие, как голова ребенка, и пахнут медом, но слабы, как женщина. Я соединю чужеземку с нашим яблоком, и она возьмет у него мужское терпение, привычку к холоду.

– Умный человек своими делами славен,– одобрительно произнес Аджук.

Я не знал, поклониться ли старику – у шапсугов, кстати, не было поклона, – или посмеяться над непостижной верой в лучшее. И здесь наличествовало то, о чем я уже писал. Сам я надеялся, но у других такая надежда казалась мне нелепой, ненадобной.

– Он что, в самом деле думает, что мы уцелеем? – спросил я, когда Едыге отошел.

Аджук не ответил.

В полном молчании наблюдали люди за тем, как собирают свой скарб покидавшие аул. Что может унести на себе человек? Ружье, бурку, котомку с едой, котел для варки пищи, ребенка на плечах... Я с удивлением увидел среди уходивших жену, падчерицу с ребенком и зятя Кнышева. Самого его не было видно.

– Куда они?– спросил я у Салиха.

Он с равнодушием произнес:

– Туда, куда им хочется.

Аджук распорядился сделать завалы на тропах, ведущих из ущелья к аулу. Старую медную пушку Ильи без чугунных ядер – их заменили камнями – он велел установить на холме, напротив брода через речку. Десять джигитов были посланы следить за приближением русского войска и сообщить о нем. Мужчины разошлись, чтобы подготовиться к сражению, их насчитывалось не более семидесяти. Вооружены они были заряжавшимися с дула кремневками и семилинейными капсульными ружьями, лишь у некоторых имелись шестилинейные винтовки. Но шапсуги предпочитали огнестрельному оружию холодное – шашки и кинжалы, и, как правило, действовали не общим фронтом, а отдельными, человек по двадцать – тридцать, группами.

Ко мне неожиданно подошел Озермес. Мы радостно поздоровались, и я упрекнул его за то, что он не появился на моей свадьбе. Он виновато развел руками и спросил, доволен ли я своей жизнью.

– Как тебе странствовалось?– в свою очередь осведомился я.

– Я прошел по всему берегу, кто жив, уезжает за море.

– Ты останешься с нами или снова уйдешь?

– Хочу бросить плеть во двор одной девушки,– тихо произнес он, – потом видно будет. Может, зайду к тебе вечером.

Плеть бросали во двор девушки, которая нравилась. Ежели плеть выбрасывали обратно, надеяться было не на что.

Кто же его избранница? Я стал перебирать в памяти наших невест, но догадаться, кто завладел сердцем джегуако, не смог. Ни

с кем вроде бы я его не видел. Возле меня остановился Кнышев, почему-то сняв папаху с патлатой, давно не стриженой головы.

– Что, вашбродь, конец жизни нашей приходит? Беда пришла неотсидная.

В глазах Кнышева было безысходное отчаяние, и от взгляда его я сам вдруг впал в смятение и растерянность. Где-то между животом и сердцем сжало, и от тупой боли этой я долго не мог освободиться.

– Авось отобьемся.

– Оно, конечно, бывает,– пробормотал Кнышев,– да только...

В задумчивости он надел папаху, снял ее, повертел в руках, вновь надел и махнул рукой.

– Что же это жена тебя оставила?– спросил я.

– Я ей не указчик, примаком жил. Сказала – о внуке надо думать, его спасать...

– Пошел бы и ты с ними.

– К туркам?!– Озлившись вдруг, он волком глянул на меня, но тут же в испуге сник и отошел.

Мы с Аджуком отправились на поле за мотыгами, присели там. Я задумался. Очнувшись, посмотрел на Аджука. Он счищал палочкой землю с мотыги, что-то вполголоса напевая. У него, как и у других шапсугов, хороший слух, о ритме я уже не говорю. Петь в ауле любили все, от мала до велика. В песне выражали настроение, к песне обращались за помощью. Зимой, вместе с Аджуком и еще пятью охотниками, я пошел за дикими козами. Выпал обильный снег, выше человеческого роста, нас чуть не снесло лавиной и, пробиваясь в снегу, мы выбились из сил, лежали на сугробах, погружаясь в предсмертный сон. Аджук заставил нас встать, мы обнялись, сдвинув вместе головы, и Аджук запел – про то, что наш путь труден, но мы все равно вернемся в аул, где женщины уже разводят огонь в очагах. Охотники подхватили припев, я тоже. И усталость, изнеможение понемногу оставили меня.

Аджук все чистил мотыгу, о чем-то размышляя.

– Послушай,– спросил я,– правда, что в давние времена один из шапсугов был в Египте фараоном?

– Так говорят,– с безразличием ответил он.

– Ваши предки и предки ваших предков – и натухайцев, и шапсугов, и убыхов всегда жили в здешних местах?

– С того света никто еще не приходил, чтобы рассказать,– Аджук отложил мотыгу.– Говорят, давным-давно, задолго до Исы и Мохамеда, народ жил далеко за морем, где-то в Аравии. Он делился на восемь племен. Захотев увидеть мир, племена разошлись кто куда. Так говорится и в Коране: и были люди только единым народом, но разошлись. Племена потеряли друг друга и, встречаясь, не узнавали, думали, – чужие, и воевали, как с чужими.– Он улыбнулся глазами.– Ты ведь тоже не узнал меня, когда мы встретились, и я тебя тоже,

– Но мы все же узнали друг друга,– возразил я.

Аджук одобрительно кивнул.

– Я скажу об этом... Наше племя шло через земли, где потом правил крымский хан. Некоторые уставали идти, останавливались и строили себе аулы, где им нравилось.* Остальные пришли в здешние места и здесь навсегда остались... Ты хорошо сказал – мы все же узнали друг друга. Я так думаю: люди забыли, что они единый народ, пока не вспомнят, мира на земле не будет.

Мы долго еще беседовали, а когда встали, чтобы идти по домам, нам крикнули издали:

– Аджук, Якуб! Идут!

Озермес вышел навстречу отряду и встретил его на подступах к аулу. Он обратился к офицерам с обычной просьбою: не трогайте аул, не надо зря проливать кровь! Вернувшись, Озермес отрицательно покачал головой.

Отряд подошел к аулу в сумерках и расположился биваком на большом лугу за речкой. В тишине застучали топоры. Зная, что ночью, в темноте, на аул наступать не станут, Аджук направил несколько воинов в засады, а остальных распустил до рассвета по домам.

Крик «идут» словно бы оглушил меня. Ничего не соображая,

* В Крыму действительно одна из крепостей называлась Черкес-кермен, а степь между реками Бельбек и Кача – Черкес-дюз (Черкесская равнина).

я ходил, куда несли ноги, безо всякой надежды, с тупой покорностью ожидал возвращения Озермеса, безучастно прислушивался к распоряжениям Аджука и думал о том, сколь тщетны были мои старания уйти от своего прошлого, все равно оно должно было настигнуть меня, и лучше бы я не пошел с Озермесом, а пустил себе пулю в лоб, ибо тогда я ничего не тёрял, а лишь освобождался от всего, что угнетало меня, а теперь я уже вкусил вольность и познал труд и любовь. Как глупо было успокаивать себя нынче, что все обойдется, работать на поле, разговаривать, смеяться, ведь петля была уже наброшена на шею, и вот уже скоро она затянется, ты испустишь дух и более не увидишь усеянного звездами неба.

Не знаю отчего, но во мне вдруг загорелась отчаянная жажда действия – так собака, в ужасе удирающая от волков и прижатая ими к крутому обрыву, поворачивается к преследователям, оскаливает зубы и, мочась от страха, отбивается, хотя и знает, что ее все равно загрызут. Боль под ложечкой прошла. Мне не сиделось на месте, я силился куда-то идти, что-то предпринимать. Надо быть поэтому сказал, что подкрадусь к биваку и послушаю, о чем говорят солдаты, авось узнаю о намерениях отряда.

– Аферим!– похвалил меня Аджук.– Иди. Слушай внимательно: перейди реку внизу, у скалы, потом иди лесом, заляжешь в кустарнике со стороны опушки против ветра. Если у них собаки, они тебя не учуют. Не задерживайся, а то взойдет луна, и тебя могут заметить. Я подожду тебя у Алии, возле пушки.

Спустившись за водопад, я постоял, прислушиваясь. На склоне неба, переливаясь, светили Семь братьев-звезд или, как мы называем их, Большая Медведица. Где-то в ауле звякнуло ведро, звонко засмеялась девчонка, потом тонко заржала лошадь. Снова кто-то засмеялся. Похоже на смех Бибы. Пригнала ли она с пастбища нашу лошадь-двухлетку? У лошади была проплешина между ушами, и ее прозвали за это Куйжи – Плешивый. Лошадка была озорной, вроде Бибы. Девчонка все пыталась прокатиться на Куйжи, а та сбрасывала наездницу и удирала, приходилось потом искать ее.

– К чарке станови-ись! – зычно закричали в биваке фельдфебели.

– Ись-ись-ись! – отозвалось эхо в ущелье.

Давненько я не слышал этой команды. Перейдя вброд реку, вошел в лес. Пахло смолой. Неслышно ступая по усыпанной хвоей земле, я добрался до опушки. Отсюда на луг мыском выдавался кустарник.

Барабаны пробили на ужин. Барабанная дробь снова прокатилась по ущелью. Почему-то в горле у меня запершило, как от горьковатого майского меду. Я зашел за дерево и стал разглядывать бивак. Он был окружен засеками из валежника. Ближе к кустам стояли повозки, и среди них – снятая с передка пушка. За повозками горели костры. О чем говорили солдаты, отсюда не слышно было, Слева, ближе к лесу, что-то чернело. Я присел, стал всматриваться. Ярко вспыхнул и угас огонек цигарки. Это были солдаты, сидящие в секрете – кто-то из них по небрежности закурил. Чтобы меня не обнаружили, надо ползти правее кустов. Я передвинул кинжал на бок, заткнул за пояс полы черкески и подтянул постолы.

Барабаны пробили зорю.

– На молитву! – скомандовали фельдфебели.

Самое время ползти. Я лег, и медленно, ощупывая впереди землю, чтобы не напороться на сухую ветку, пополз к биваку.

– Отче наш, иже еси на небесех,– слаженно тянули ротные хоры.

У меня снова запершило в горле и глаза защипало от слез. Не потому, что слышал молитву, – слова ее, заученные мною в детстве, сколько раз я повторял их из вечера в вечер, из года в год,– пробуждали во мне тоску по тому, что никогда не вернется, по Протве, по тенистому парку над рекой, по сладкой пенке, которую мать снимала для меня с варящегося в медном тазу вишневого варенья, по дортуару кадетского корпуса, где койка моя стояла у окна, из которого виднелся Троицкий собор в Кремле, над куполом его всегда летало воронье. Слова молитвы казались наполненными, звенящими, и опять-таки не в молитве было дело, а в том, что это были свои, исконно русские слова, и мне стало представляться, будто не слова это вовсе, а золотые и серебряные монеты сыплются вперемежку на точеное из дерева блюдо. Я уже

приполз к последнему кусту,– от него до засеки было саженей пять, не больше, лежал, уткнувшись лицом в сырую землю и, измаявшись грустью, плакал. Пусть кто хочет, осудит, но если б в эту минуту меня заметили и окликнули: «Стой, кто идет?» я, наверно, отозвался бы. Но меня никто не обнаружил, и я лежал на холодной траве, думая, что если до сих пор я не скучал явно по всему столь дорогому и близкому мне, то рано или поздно, тоска все равно пробудилась бы.

Я жадно вслушивался, и наконец ветер, задувший со стороны бивака, донес до меня речь солдат, сидевших у ближайшего костра. Они говорили, что войне конец и что отслужившим срок кадрам будут на выбор раздавать здешние земли, вроде бы офицерам по четыреста десятин, а нижним чинам по тридцать. На это чей-то мрачный голос возразил: нижним чинам фигу дадут, казакам разве, а вот генералы, те уж сообразят для себя, в накладе не останутся. Потом кто-то пожалел непутевого Ванятку, ни за грош пропавшего, и я подумал, не о том ли безусом говорят, голову которого принес Салих. Вряд ли безусый был казаком. Кто-то подошел к костру. Послышался сиплый басок, и меня будто вскинули от земли – это был голос нашего фельдфебеля Кожевникова, того самого, который так пестовал меня, учил нехитрой солдатской науке и оберегал от разносов начальства. От неожиданности или от сырости, прохватившей меня, я стал дрожать. Послышались еще голоса, и из-за повозки вышли двое, стали справлять малую нужду.

– Клятый аул!– выругался один и сплюнул.– Были бы уже на месте, кабы не он.

Я узнал Гайворонского и обрадовался. Да, голос этого презираемого мною раньше человека тоже показался приятен мне и встреться мы тогда с Гайворонским лицом к лицу, я, скорее всего, бросился бы ему на шею. Лазутчик, приползший к биваку за шпионскими сведениями, я слушал, ощущая тяготу к тому, что не было уже моим и все-таки, оказывается, сохранялось во мне, как сохраняется на всю жизнь показавшееся вместе с появлением на свет родимое пятно.

– Граф обещал Офрейну, что про нас не забудут,– произнес

другой, незнакомый мне голос.– Ежели мы успеем к церемониалу, наш батальон пойдет во главе колонны, и великий князь...

– Бросьте, поручик,– перебил Гайворонский,– будто вы не знаете – кто смел, тот и съел. Покуда мы дойдем до места, награды будут уже распределены. Мало было нашему полковнику славы, дернул его черт еще и на уничтожение этого аула проситься. Провоевать столько лет, и под занавес попасть под дурацкую пулю...

– Полковник приказал патронов и ядер не жалеть. С рассветом закатим пушку повыше водопада, и сверху лихо все пойдет.

– Вам-то издали лихо, поручик, а мне первым вести свою роту под огнем неприятеля через речку...

Они скрылись за повозкой, Я обрадовался полезным сведениям.

Теперь я не раз думаю, что обманывался, воображая, будто меня потянул к себе дым отечества, нет, меня искушало все вместе взятое – и путь, от которого я отказался, и карьера, которой я пренебрег, иначе говоря, тот рабский строй жизни, при котором одни люди владели моей судьбой, а судьбой других – подчиненных мне нижних чинов – распоряжался я. Не мыслю, какие перемены должны произойти и сколько столетий на это уйдет, чтобы мы стали свободными внутри себя и признали бы такую же свободу в других. Но так я думаю нынче, а тогда я лежал на земле и плакал, слушая, как солдаты, сидевшие у костра, поют «В поле чистом». Слушая песню, я думал, что если крикнуть: «Братцы мои, не стреляйте» и встать, то через минуту-другую я буду в биваке, меня окружат, обнимут, и если я не скажу правды, а, придя в бивак, я действительно не скажу ее,– то завтра удалой поручик, бежавший от черкесов, будет представлен самому великому князю, награжден Георгием, получит очередной чин, денежное содержание за два года и отпуск для поправки здоровья, ему дадут роту, потом батальон, потом полк, он уйдет в отставку генерал-майором, а случись еще одна такая война и вспыхни восстание где-нибудь в Дагестане или на родине Высоцкого, дослужится, вроде князя Барятинского, до генерала фельдмаршала, и от того, поступлю ли я так или вернусь в аул, в мире ровным счетом ни-

чего не изменится, кроме совсем несущественного – одним подлюгой больше станет. Общество, узнай оно правду, безусловно оправдает подлюгу, но оно никогда не узнает. Узнают другие – те, кто ждет в ауле моего возвращения, и, самое главное, буду знать это я...

Над горой стало высветляться – скоро должна была появиться луна. Я пополз к лесу, за деревьями встал и побежал, чтобы согреться. Переходя то по камням, то вброд излуку речки, попал в ямину, промочил ноги и присел под корявым дубком – выжать воду из шерстяных носков.

Кто-то, тихо разговаривая, спускался к реке. Не заметив меня под низкими ветвями, по откосу сошли парень и девушка. Она, шлепая босыми ногами по воде, зашла за скалу, он стал снимать черкеску. Пришли купаться. Плескаясь, они снова заговорили, повысив голос, чтобы слышать друг друга за шумом водопада.

– Ты не очень спешил,– с упреком произнесла она. Голос ее показался знакомым мне.

– У джегуако мало времени для себя,– отозвался он,– но я всегда помнил твою улыбку.

Это был Озермес. Я припомнил его слова том, что он собирается бросить плеть во двор какой-то девушки. Она подняла плеть, иначе они не пришли бы сюда купаться. Кто же его избранница? Я хотел было окликнуть его, но спохватился, сообразив, что не надо им мешать. К разговору Озермеса с девушкой я прислушивался словно бы издали. Так наблюдают и слушают зрители происходящее на театральной сцене. Сколь ни волновали бы твою душу речи актеров, ты все же не среди них, а в зале, и между вами рампа, оркестровая яма. Я никак не мог вернуться к настоящему после пережитого у бивака, продолжал вздрагивать от озноба, потом забылся, как забывался маленьким, во время болезни, от прикосновения ко лбу мягкой прохладной руки матери.

Девушка, улыбаясь,– я не видел ее, но угадывал по голосу, что она посмеивается,– спрашивала у Озермеса, чем он владеет, он, тоже смеясь, отвечал: у него нет ни сакли, ни коня, ни быков, только шичепшин и отцовская бурка.

Где-то вдали, на высоте, закричали, кажется, по-русски. Из

бивака выстрелили. Потом еще несколько раз. Эхо отозвалось в горах.

Озермес и девушка приумолкли. Потом снова заговорили, но уже тише, и до меня доносились только отдельные слова. Я, наконец, разгадал, что с Озермесом была Чебахан и возрадовался, ибо один он, безгрешный человек, не носивший оружия и облегчавший людям страдания, был достоин этой полуземной красавицы.

Она рассмеялась и повысила голос:

– Завтра, когда женщины узнают, что я взяла себе в мужья джегуако, они ахнут, как от голоса Шибле. Весь аул соберется на нашу свадьбу.

– Свадьбы не будет, Чебахан.

– А как же без свадьбы?– растерянно спросила она.

– Я думал, что мы успеем справить свадьбу сегодня, даже Якубу сказал, что зайду, но уже поздно. Ты слышала выстрелы? Кто знает, увидим ли мы с тобой завтра солнце.

Озноб снова прохватил меня.

– Совсем позабыла.

– Завтра я буду петь воинам,– сказал Озермес.– А потом, если останусь в живых, мне уж некому будет петь, кроме тебя. Мы уйдем. Может, туда, где вечный снег, его-то никто не придет отбирать у нас.

– Разве там можно жить?

Озермес помолчал. Или я не расслышал его ответа.

Над горой показался краешек луны. При желтоватом ее свете я увидел, как Озермес, обняв за плечи Чебахан, поднимается с ней по склону, услышал напряженный, как струна, голос девушки:

– Уж эту ночь у нас с тобой не отнимут!..

Я остался сидеть под дубком, подавленный. За все последние часы, сперва оглушенный и растерянный, потом, пробираясь к биваку, плача там, в кустах, от тоски, я ни разу не вспомнил о Зайдет. Тяготея к возврату, не столь важно, к чему именно, я не только не подумал о своей возлюбленной, но и, как само собой разумеющееся, отодвинул ее, словно бы она никогда не существовала, на ту сторону, которую, пусть неосознанно, инстинктивно, как животное, но предполагал оставить, отодвинул не как собаку

или лошадь, а как нечто неодушевленное, ничего не значащее. В эгоизме своем я попросту позабыл о той, которую так сильно любил. «Господи, Аллах, Иегова, кто ты там есть,– взмолился я,– дай мне возможность уберечь Зайдет, а потом покарай меня!»

Вернувшись, я рассказал Аджуку, что пушку на рассвете установят выше водопада, а первый удар будет нанесен со стороны брода.

– Я знал,– удовлетворенно произнес он.– Тебя долго не было. Чтобы отвлечь их, Алия стал кричать, ругаться, и они стреляли.

Я сказал, что слышал выстрелы, но в это время был уже на нашем берегу, а задержался, ожидая, пока Озермес и Чебахан выкупаются перед брачной ночью.

– Олень и ласточка,– сказал Аджук.– Хорошо!.. Надо будет послать джигитов в засаду, пусть сбросят их пушку в водопад.

Бог весть с чего, возможно от смятения, терзавшего меня, на ум пришла вдруг кощунственная мысль, и я, не совладав с собой, сказал Аджуку:

– Одни уезжают в Турцию, оставляя родную землю, другие умирают с оружием в руках, но есть ведь и такие, кто соглашается переселиться на отведенные им места. Не дальновиднее ли последние, не окажутся ли они в будущем мудрее нас, ибо хотя бы часть изъявивших покорность сохранит свои жизни и жизни своих потомков?

Я сказал «нас», дабы смягчить свои слова, но Аджук не обратил на это внимания. Подумав, он промолвил:

– Да, многие бжедуги, натухайцы и другие пошли за своими князьями туда, куда приказывали сардары царя. Кто знает, что станет с ними? Даже орел, у которого самые острые глаза, не может разглядеть со своей высоты будущее лета и зимы. Мы, когда долго проживем на том свете, сами решим, кто был прав. Одни из нас могут сказать, что мы ошиблись, другие, возможно, скажут иначе... Твои слова о мудрости поднимающих руки ради жизни правнуков коварны. Кто может решить, когда выгоднее стать покорным, а когда остаться таким, каким были предки. Раз став на колени, легко привыкнуть к ползанию, и тогда глаза у людей переместятся под подбородок, как у крота... Я знаю одно: человек

должен защищать свою саклю, а народ – свою землю. Так было, так есть и так будет!

Робость и растерянность мои пред жестоким ликом грядущего еще более усилились.

Я подошел к пушке Ильи, стоявшей на деревянном лафете. Возле нее лежала груда принесенных с реки, кругло обкатанных водой булыжников. А в ложбине между гигантскими дубами, возле небольшого костра рядом с Салихом развалился сам Илья.

– Слыхал, Яков,– спросил он,– как я их раззудил? Прямо как осиновое гнездо заворошились. Хошь, еще потеху устрою?

Он встал, подошел к краю обрыва и, приложив руки ко рту, зычно закричал:

– Эй, холуи барские! Пехота, несмазаны сапоги, кто воли хочет, к нам иди! Русских у нас до хрена, землю пашем, девок любим, а на царя Алексашку срем!

То, что он так кричал в сторону бивака, возле которого я совсем недавно изнывал от переживаний, было по сердцу мне, и я, словно мстя себе, проговорил:

– Покрепче, Илья, покрепче всыпь им!

В биваке молчали.

Илья перевел дух и заорал снова. Он перебрал все внутренности Александра II, рожденного от дубины Николашки и стервы Шурки, заявил, что жена Алексашки немка Машка – гулящая и принесла ублюдков от разных отцов...

– Что он кричит? – спросил Салих.

Матерной ругани у шапсугов не было.

Я засмеялся и сказал:

– Алия дурно отзывается о царе и его семье.

В биваке вспыхнуло несколько огоньков, захлопали выстрелы.

– С-с-с,– пропела, уносясь куда-то пуля. – Илья заржал полошадиному, в лагере отозвалось несколько коней. Расхохотавшись, он вернулся к костру и проворчал:

– Я им до утра спать не дам. Оставайся со мной, Яков, баба моя бузы принесет, мясца, славно скоротаем ночку.

– Нет, мне домой,– сказал я.

Он загоготал.

– Позабыл, что ты только женился. Ну, давай, беги до своей зазнобушки. Гляди только, утром не проспи. Завтра кровавую жатву жать будем. Ох, и навалю же я на сыру землю солдатушек – бравых ребятушек!

Он широко перекрестился.

Превыше разума моего было понять Илью, последние слова его и то размашистое движение рукой, обозначившее крест... Я заторопился домой.

Спускаясь по склону, приметил мужчин. Они сидели подле Озермеса. Кажется, он натягивал струну на шичепшине.

Я задержался возле четырех елей, стоящих полукругом, одна высилась чуть ли не до облаков, другие были пониже ростом, но столь же остроглавы. Молодые светлые шишечки на ветвях обрисовывались даже в темноте, и я вспомнил свечи, которые в детстве зажигал на рождественской елке. Разглядывая макушки елей, подумал, что, быть может, церкви наши создавались по подобию еловых деревьев, и в первые времена после крещения люди на Руси бросали языческие капища и молились богу в таких вот лесных храмах и, возможно, даже и шишки на елках зажигали, дабы они курились смолистым благовонием во славу господа.

Послышалось тягучее стенание струн и голос Озермеса, затянувшего песню про Бзиюкскую битву:

Что было у шапсуга-крестьянина?
Одно лишь право жить да гоми есть, добытое в труде,
Не отнимал шапсуг охапки даже сена
У шеретлуковских волов...

Читатель, коему попадут на глаза мои записки, возможно приметит, что я нигде не говорю о вере, не рассуждаю о боге. Как и многие из людей моего круга и воспитания, я не был истово верующим, хотя и не принадлежал по убеждениям к атеистам. Сызмальства понятие о боге стало для меня почти материальным, таким же как дубрава, пажити, голландская печь с голубыми изразцами, – в нашем флигельке в Троицком были такие, – как, на-

конец, иконы. У матери иконы висели в спальной комнате, перед киотом постоянно теплился огонек лампадки. «Где боженька?» – спрашивала мать, и я показывал пальцем на икону. Молитва, хождение ко всенощной, вечерние армейские хоры, вся эта обрядность для меня мало чем отличалась от умывания, причесывания, построения на поверку.

Отступление это понадобилось мне для того, чтобы пояснить случившееся со мной в тот час, когда я стоял под елями, слыша, как поет Озермес. Мелодичный голос его звучал печально:

Шеретлуковы – дворяне, рыская в степи, подобно волкам,
Сгрызали ради гоми жизнь людскую
За то прогнали их с земли своей шапсуги...

Где-то в лесу свистнула ночная птица. И ровно бы по знаку этому во мне все опрокинулось, и я вспомнил о боге, не мыслью пришел к нему, а чувствами, на меня, как говаривали троицкие бабы и кликуши, вдруг накатило. Думаю, внутри естества моего тайно сохранялась вера, завещанная предками, начиная с того мурзы Кайсара, который, крестившись, зажил на Руси. Я замер, ожидая, что ко мне придет прозрение, я получу ответ на мучившие меня вопросы, пойму мудрость бытия и очищусь от скверны сомнения. Невольно прислушиваясь к голосу Озермеса, преисполненному тоски, столь согласной с моими печалью, одиночеством и ничтожеством пред ликом будущего, я вопрошал, нет, не вопрошал, а твердил с убежденностью, что мы, слепленные по подобию божьему, не какие-то муравьи, над которыми с любознательным интересом склонился естествоиспытатель, наблюдая за тем, как насекомые суетятся, таскают в свои норки зернышки, нападают на чужие муравейники, похищая куколок, как кровавые муравьи понуждают своих рабов – черных мурашек трудиться и воевать…

Озермес пел:

Приветил волков бжедугский князь Батчери,
Чтоб вновь на шею посадить дворян шапсугам,

Собрал он воинов, и пушек попросил
У русской императрицы Катерины...

И я, и Аджук, и Озермес, и те, кто спали в биваке,– все мы были наделены живой душой, никто, по отдельности взятый, не жаждал променять любовь на ненависть, однако вместо того, чтобы отдавать свое око за чужое, свой зуб за зуб другого, мы мстили, убивали... Старый Едыге сказал, что все в мире рождается через боль. Но разве для достижения наивысшего блага необходимо приносить в жертву людей и даже народы? Если таков единственный путь к будущему, то прав окажется тот, кто провозгласит ненависть, кто станет проповедовать: приноси только зло, убивай, и этим ты ускоришь приближение конечного блаженства, всеобщей любви. Путь ужасный, неприемлемый!

Озермес поведал слушателям о том, как закраснела от крови невинных река Бзиюко, как князь Батчери поехал на коне по полю битвы, голос певца усилился, как колокол от сильно раскаченного била:

И тут за вдов и сирот месть его настигла,
один из умирающих поднялся и пулею
последней Батчерия свалил.
Хвала герою-мстителю, о люди!..

Я очнулся, обнаружив, что опираюсь о землю коленями и встал, столь же нищий духом, как и дотоле. Вопль мой остался гласом вопиющего в пустыне.

Здесь, среди гор, где постоянно течет врачующая душу тишина, такая, что можно услышать даже чужие мысли, с особенной силой ощущаешь бога или вечность. Помногу и не суетно размышляя, озираясь на историю, я недавно озадачился тем, что при всей грязи, срамоте и преступлениях, о которых кричат минувшие века, люди создали столь много прекрасного, неумирающего. За противоречивость сию я уцепился, как за спасительную соломинку. Раз борьба добра и зла извечна,– подумал я,– коли зло и добро постоянно сталкиваются, можно, сопоставляя разные

времена, увидеть, что каждая ненависть и каждое зло остаются в своем времени, а добро, любовь в разных обличиях, в том числе в образах искусства, особо включая сюда изящную словесность,– переходят из сегодняшнего дня в завтрашний, становясь спутниками новых и новых поколений. А коли так, каждый из нас волен избирать для себя один из двух путей – либо, неся в душе своей зло, умирать вместе со своим временем, либо продолжать вечно жить в добре...

Окна сакли, выходившие к плетню, светились. Пройдя по двору, я вошел в комнату и вздохнул глубоко, будто от плетня до двери двигался под водой, не имея возможности дышать.

Потрескивала лучина. В углу на тахте причмокивал во сне Закир. Перебрался и сюда за мной! А Зайдет стояла у двери, ведущей в женскую половину, и смотрела на меня. К моему приходу она прихорашивалась. Я услышал ее чуть стесненное дыхание. Лицо Зайдет было неподвижно, но радость от того, что она видит меня, пробивалась изнутри, как из светильника покрытого матовым стеклом.

Охватив взглядом все одновременно – тахту со спящим Закиром, над которой висел пестрый ковер и очаг с дымарем, откуда шел запах вареного мяса, и лучину, бросавшую дрожащий свет на полку с книгами, с таким трудом добытыми мной, и сияющие глаза жены, – я понял, что никогда еще по-настоящему не понимал: вот это и есть самое главное и единственно ценное в моей жизни. Мне лишь казалось, что я позабыл о Зайдет, на самом же деле она была во мне, была со мной, подобно тому, как в человеке бьется сердце и дышат легкие. Я протянул руки. Зайдет подбежала, я обнял ее, поднял и понес на женскую половину...

Потом, боясь разбудить Закира, я перенес в комнату Зайдет столик. Мы ели все, что она приготовила: вареное мясо в густом перечном соку, и курицу с грецкими орехами, и кукурузную кашу с расплывающимся сыром, запивая еду прохладной водой. Я отрывался от еды лишь для того, чтобы похвалить Зайдет и поцеловать ее жаждущие губы. Пока она прибирала со стола, подошел

к тахте, на которой спал Закир, и поправил на нем бурку. Он что-то пробормотал, я уловил лишь «Якуб» и подумал, что он любит меня, если видит во сне, и что я тоже люблю этого живого, как форель в речке, мальчишку, взятого мною на воспитание не во имя обычая, а по обоюдному выбору. Закир снова заговорил. Я наклонился к нему – теперь он звал мать...

Лучина в комнате Зайдет погасла. Я знал, что она в темноте снимает с себя бешмет и рубаху, разделся сам и на ощупь направился к тахте, на которой меня ожидала любимая, такая же нетерпеливая, как я. Мы обнялись так, словно искали друг друга всю жизнь и теперь только нашли – оба вскрикнули от боли и от нее же, задохнувшись, умолкли. Не было в мире ласк, которых мы не открыли бы для себя в ту ночь...

Свет луны через окошко упал на истомленное лицо Зайдет. Она закрылась от света рукой и прошептала – счастливо, без смущения:

– Я рожу тебе сразу двенадцать сыновей.

– Отдохни, – сказал я, поднимаясь.

Выйдя во двор, посмотрел на большую, бронзово-красную луну. В конюшне фыркнул и стукнул в стенку копытом Куйжи. От леса и от земли струился какой-то запах, похожий на запах бродящего виноградного сока. Я припомнил, как Аджук сказал, что хотел бы иметь еще троих, даже пятерых сыновей и как страстно молвила Чебахан Озермесу: «Уж эту ночь у нас с тобой не отнимут» и ощутил, что хмельной запах земли вливается в меня, побуждая скорее вернуться к Зайдет, и почти воочию увидел, как охваченные той же жаждой мужчины всего аул ненасытно ласкают своих возлюбленных и те, удовлетворенно стеная, зачинают детей, которым не суждено родиться.

Вернувшись в саклю, я услышал голос Зайдет:

– Где ты так долго?

Мы так и не заснули и узнали о том, что начинается рассвет, лишь услышав зов Аджука:

– Якуб!

Я выглянул из двери.

Луна уже зашла. На востоке бледно розовело небо. Аджук и

Зара, он с винтовкой в руке, она с ружьем за плечом, стояли у плетня. Возле них подпрыгивала, что-то приговаривая, Биба. Зара сердилась на нее.

– Идем,– сказал я Зайдет.

Пока она одевалась, я принялся расталкивать Закира. Непробудчивый, он не хотел просыпаться и поднялся только после того, как я сказал ему в ухо, что его зовет отец. Зайдет вышла вместе с ним, а я посмотрел на полку с книгами. Там лежала и тетрадь, в которую я записывал народные предания, обычаи, большие и малые события, свидетелем которых мне довелось быть. Вздохнув, я взял винтовку и прикрыл за собой дверь.

Лица у всех были бледными от предрассветного неба. Закир зевал во весь рот. Зара по-ястребиному сердито поглядывала на Бибу, Аджук стоял молча, опираясь на винтовку. Зайдет зябко поежилась от сыроватого ветерка, – я сказал, чтобы она сходила в саклю за буркой. И Аджук, и Зара, и все остальные напоминали людей, собравшихся в дорогу, стоящих у постоялого двора в ожидании коней.

Мы решили отправить Зайдет, Бибу и Закира за аул, чтобы они спрятались в малиннике, возле сосновой рощи, он был в стороне, и обстреливать его вряд ли станут. Я посмотрел на осунувшееся лицо Зайдет. «Возьми меня, – умоляли ее глаза, – возьми меня с собой».

– Ты последишь за Бибой и Закиром,– заставил себя сказать я.– Ждите нас там.

Она покорно кивнула, взяла Бибу и Закира за руки и повела их за собой. Я видел их словно в тумане.

На холме, пробудив все окрест, прогремела пушка Ильи.

Не стану более рассказывать подробностей. Будучи раненым, я к счастью, многого не видел. Но и того, что досталось на мою долю, с лихвой хватило, чтобы потом по ночам бредить годами. Поэтому остановлюсь лишь на том, без чего не обойтись. О себе скажу одно лишь – здесь, на Ангаре, я, отправившись на охоту со своим хозяином, угорел однажды в зимней промысловой избушке. В таком угарном состоянии я был все то утро в ауле.

Когда Аджук, Зара и я подбежали к Илье, он уже трудился

вовсю: набивал пушку порохом, мелким булыжником, наводил, подносил к запальнику головню из костра, пушка бухала, отскакивала назад вместе с деревянным лафетом, Илья толкал ее вперед и покрикивал на жену, чтобы она побыстрее подавала булыжники.

Пушка, которую я видел вчера в биваке, молчала, по-видимому, джигитам, которых вчера послал Аджук, удалось сбросить ее в водопад. Но ружейные выстрелы вдруг послышались и с другой стороны аула.

Вместе с Аджуком, Зарой, Салихом и еще несколькими воинами мы спустились по склону ближе к броду и залегли цепью. Я лежал за бугорком. Слева, укрывшись в мелком кустарнике, тщательно прицеливаясь, стреляли Аджук и Зара. За рекой мелькнул Гайворонский. Он что-то кричал и размахивал руками, наверно, поднимал солдат в атаку. Я догадался, что солдатам, узнавшим об окончании войны, вовсе не хотелось погибать в последний день ее, и они отлеживались, дожидаясь, чтобы огонь неприятеля ослаб. Как я потом услышал из разговоров, ни полковник Офрейн, ни другие офицеры не предполагали наткнуться на такое отчаянное сопротивление.

Кто-то с разбега бросился на землю и прижался ко мне. Это была Зайдет.

– Где Биба и Закир?– спросил я

– Я их спрятала. Солдаты вошли в аул, их провел через лес Кныш,– тяжело дыша, рассказывала она. – Ты не ранен?

– Уйди,– потребовал я,– сейчас же уйди!

Она посмотрела мне в глаза, и я обхватил ее рукой, на миг позабыв обо всем. Она тоже, казалось, не видела ничего и никого, кроме меня, однако минутой позже определилось, что от нее ничего из происходящего не ускользало.

Пушка Ильи перестала палить, наверно, иссяк порох. Солдаты, недружно крича «ура», стали перебираться через речку. Некоторые падали, или осклизаясь на камнях, или убитые и раненые, и вода уносила их. Умолкали и ружейные выстрелы с нашей стороны – число защитников аула все уменьшалось.

– Стреляй,– возбужденно зашептала Зайдет,– скорее стреляй!

Подходил наш черед. Прямо на нас бежало с десяток солдат и впереди всех фельдфебель Кожевников. Я прицелился в его широкую грудь, но не выстрелил – мне показалось, что он узнал меня и по-доброму ухмыльнулся.

Солдаты, остановившись, дали залп. Наши воины бросились на них с кинжалами.

Зайдет смолкла, опустив голову в траву.

– Ты что?– спросил я и отложил винтовку. Зайдет не ответила, я повернул ее на спину – она была мертва. Куда попала пуля, я так и не определил, потому что набежали солдаты и один из них дважды ударил меня штыком.

Дальше я то приходил в сознание, то снова проваливался в небытие. Кажется, я видел, как мимо меня пробежала Зара, а за ней Аджук. Где-то вдали снова кричали «ура». Ругаясь во всю глотку, пробежал в лесу Илья. Кто-то тряс меня и что-то говорил, не помню, по-шапсугски или по-русски. Открыв глаза, я увидел дымы над саклями. Из сакли Аджука отстреливались. Впрочем, оттуда, с бугра, я не мог это видеть, наверно, увидел потом, когда дополз до своей сакли. Для чего и куда я потащил с собой тело Зайдет, не знаю. Я мучился тем, что, не пощади я фельдфебеля, Зайдет осталась бы живой, во всяком случае там, у речки, пуля могла не попасть в нее, и, значит, это моя вина, что ее убили, я должен был защитить свою жену, но не сделал этого, а она прибежала ко мне, чтобы разделить мою участь... Помню убитого Шумафа и плачущую возле него старуху Сурет. Вижу в воспоминаниях, как горела наша сакля и как Куйжи, вырвавшись из конюшни, поскакал, спасаясь от бегущих за ним солдат. Другие солдаты, торопясь, рубили цветущие фруктовые деревья. Помнится, что лежавший рядом с убитой Зарой Аджук вдруг вскочил и ударил в бок кинжалом стоявшего неподалеку от него молодого солдата, а остальные кинулись на Аджука и принялись бить его прикладами и колоть штыками. Потеряв где-то Зайдет, наполз на Едыге, лежавшего у дороги с изможженной головой. Наверно это было на самом деле – трудно теперь отличить действительность от того, что мерещилось в горячке. Мне необходимо было снова сыскать Зайдет, и я, полуослепший, ползал по земле, натыкаясь на какие-то препят-

ствия – на камни или на мертвые тела, сворачивал и полз дальше, для передыха поворачивался на спину, а надо мной клубился по небу черный дым. Совсем рядом трещал огонь, языки его лизали мне волосы, обжигали лицо и руки, однако боли я не ощущал, лишь запах паленого опалял ноздри, и я кашлял, задыхаясь от дыма, застилавшего глаза. Кто-то заиграл на шичепшине. Вдали возникли Озермес и Чебахан. Плывя над землей, они удалялись от горящего аула, и горы расступались, давая им дорогу к озаренным солнцем снежным вершинам... Потом увидел склоненного надо мной Кожевникова, он сипло повторял:

– Ваше благородие, а, ваше благородие!

Очнулся я от тряски, боль отдавалась в груди, на чем-то меня везли – на повозке или на верховой лошади. Тут же потерял сознание и снова пришел в себя от того, что на лицо мне падали холодные мелкие капли дождя. Я лежал на шинели возле большой серой палатки, из которой доносились громкие голоса. Кто-то вышел из нее, остановившись неподалеку от меня.

– Поглядите, господа, какие густые тучи закрывают горы.

– Это потому, ваше высочество,– произнес другой голос,– что горам тяжко смотреть на покорившую их рать.

– Браво, граф!

– А как наш раненый герой? Поставьте носилки так, чтобы он мог видеть церемонию

– Солдаты нашего батальона, ваше императорское высочество, предлагают понести поручика на руках. – Мне показалось, что это был голос Офрейна.

– Не слишком ли он слаб? Что говорят лекари?

Мне приподняли голову и подложили под затылок что-то мягкое

– Господин поручик! Вы слышите, господин поручик? Великий князь изволит...

Я поднял веки и увидел знакомое по портретам лицо великого князя Михаила, у него был такой же покатый лоб, как у брата, на грудь ниспадала пышная широкая борода, из-под мохнатой казачьей папахи на меня с участием смотрели холодноватые красивые глаза.

– Как ваше самочувствие, поручик?

Я понял, что мне не мерещится и что я действительно лежу в ногах великого князя и его свиты. Хотел сказать что-то, в груди заклокотало, я откашлялся и обрел голос:

– Вы людоубийца, – сказал я, с ненавистью глядя на здоровое, холеное лицо великого князя, – вы застрелили мою жену…

– Он бредит! – испуганно воскликнул кто-то.

– Я был не в плену, – продолжал я, – а вам всем позор, убийцы!..

Силы оставили меня, а когда я снова очнулся, уже шел молебен. Солдаты стояли, обнажив головы. Возле аналоя развевались на ветру приспущенные знамена, службу несли несколько священников. На холме виднелись великий князь с генералами, а внизу, у холма, расположились офицеры и солдаты – георгиевские кавалеры. Хоры пели: «Тебя, Бога, хвалим», гремела, отдаваясь горах, орудийная пальба, били барабаны.

Великий князь радовался тому, что отныне он войдет в историю, как прославленный полководец, офицеры радовались победе и наградам, нижние чины были рады, что закончилась наконец война и они остались живы. Все было весело, парадно, а на деле это не парадом являлось, а панихидой по исчезающим шапсугам и убыхам.

Возле меня никого не было. Дождь перестал моросить, в просветах между туч загорелся солнечный свет. Великий князь объезжал на коне войско, повторяя:

– Именем государя-императора благодарю вас, молодцы, за трудную, честную и верную службу!

Я увидел церемониальный марш, услышал затем, как за обеденным столом великого князя хлопали пробки от шампанского и провозглашались тосты. Кто-то громко диктовал телеграфическую депешу царю: «Имею честь поздравить ваше величество с окончанием славной Кавказской войны точка отныне не остается более ни одного непокоренного племени точка сегодня отслужено благодарственное молебствие в присутствии всех отрядов…»

Солдаты принесли мне поесть. Среди них я увидел Кнышева, переодетого в старый мундир. Голубенькие глазки его бега-

ли, Я с презрением отвернулся от него. Из солдатских разговоров узнал, что Илья, изнатужившись, поднял и сбросил свою пушку на бегущих в гору солдат, придавив троих до смерти, и ушел невредимым. Еще они говорили, что в кустах возле аула нашли девчонку и мальчишку. Девчонку взял один из штабных офицеров, а мальчика забрал в услужение чей-то денщик. Возможно, это были Биба и Закир. Расспросить я не сумел, потому что мне снова стало худо.

Через день меня отвезли в Гагринское укрепление, положили в лазарет и стали лечить. Я не удивлялся, зная, что таков наш гуманный закон – даже приговоренного к смерти человека сперва подлечат, если он болен, а потом уже набросят ему на шею смазанную мылом петлю. Удивился днями позднее я иному, а именно тому, что лекари пользовали меня ровно бы значительную персону. Я осведомился о причине столь непонятного внимания к моей особе. В ответ услышал, что таково распоряжение самого главнокомандующего. Я с озлоблением подумал о лживости великого князя, выставлявшего напоказ свои сердоболие и великодушие. Владыки мира сего – актеры, к тому же препаршивые.

Я услышал, кроме того, что, несмотря на громогласное объявление об окончании войны, сражения еще происходят – продолжают отбиваться хакучинцы. Будь я в состоянии двигаться, постарался бы сбежать к ним. Но меня сжигала лихорадка. А когда я оправился, с последними защитниками аулов было покончено.

Однажды, проснувшись после дневного сна, я увидел подле своей койки никого другого, как Офрейна. Я уставился на него, как на привидение, а он мирно улыбнулся и осведомился о моем здравии.

– Явились, дабы сопроводить меня в острог? Какая честь, – сказал я.

Он, не обидевшись, заговорил. Я ушам своим не верил. Он сказал, что мне после лазарета дадут отпуск, и быть может, дозволят продолжить службу.

– Как сие понимать? – спросил я.

Он снова ласково улыбнулся, притворно не замечая моего озлобления, и принялся объяснять. Говорил он вкрадчиво, не очень

вразумительно, почему-то изъюлился весь. Я долго не понимал, но наконец уразумел, что мне всего лишь предлагается принять прощение. Короче говоря, из меня хотели сделать мерзавца. То, что называется изменой, кого-то, возможно, самого великого князя, не устраивало. Русская армия не должна была иметь офицера-изменника. И чтобы его не иметь, мне все прощалось, а дабы я не изволил упрямиться, мне за мое молчание предлагались карьера, деньги, всякое благоволие начальства. Вспомнив, как подобного рода соображения искушали меня возле бивака, я взорвался и в ярости принялся осыпать Офрейна руганью, требуя, чтобы он убрался. Но он только моргал своими свиными глазками и продолжал неподвижно восседать на табурете. Потом что-то сказал. Смысл сказанного им не имел значения, ибо в конце концов я все равно ударил бы его. Не знаю, откуда только силы взялись. От моей оплеухи Офрейн упал.

Не стану затягивать повествования. Я заставил их осудить себя. И все же на каторгу меня не отправили, приговорив лишь к бессрочному поселению в Сибирь.

На днях уеду в Енисейск и, получив нужные бумаги, покину эти места. Как уже указывал, хочу попытаться отыскать следы Закира и Бибы. В ущелье, где находился аул, вряд ли стоит подниматься – наверно там за десять с лишним лет все заросло буйными травами.

Иногда я вспоминаю улыбку своей любимой, иногда слышу ее голос. Чем дальше годы относят меня от нее, тем сильнее осознаю свою потерю. Никого уже я не полюблю как Зайдет, и никто не полюбит меня как она. Бывает, в воображении я подозреваю, что Зайдет была без сознания, и я посчитал ее умершей. На деле ошибиться было невозможно – когда я волок Зайдет куда-то, тело ее захолодевало. Догадываюсь о причине своих сомнений – Зайдет была моей женой, но могла и не стать ею. И ее, и Зару, и многих других дочерей шапсугов природа сотворила красавицами. Так можно ли примириться с тем, что красота была убита, что красоту будут убивать вновь и вновь? «И были люди только единым народом, но разошлись». Часто вспоминаются мне эти слова. Несколько дней назад, во сне, я пытался выбить стекло в

окошке, крикнуть людям, находившимся за толстыми бревенчатыми стенами избы, о том, что они должны узнать друг друга, но стекло не поддавалось, я лишь поранил руку и проснулся от душевной боли...

На этом обрываются записки Якова Кайсарова.

Путь на Ошхамахо

(Послесловие)

Писатель Михаил Лохвицкий… К сожалению, мне не довелось общаться с ним. Каким он был? Что любил и ненавидел? К чему стремился? Ответы на эти вопросы можно найти в его письмах, произведениях. Тем и отличается судьба обыкновенного человека от судьбы писателя, что после смерти творца читатели постигают его суть через мысли, выраженные в строках. А еще человек живет в памяти тех, кто любил его, кому он был дорог.

Интересно было двигаться по дорогам судьбы Михаила Лохвицкого, шаг за шагом приближаться к пониманию его личности. Только приближаться, потому что полное понимание вряд ли возможно. Ведь человек – это бездна… Михаил Лохвицкий творил в сложную эпоху. Как ему удалось сохранить себя? Уместиться в прокрустово ложе жесткой и порой жестокой реальности и при этом остаться Человеком?

Многое в судьбе Михаила Лохвицкого определило его происхождение, соединение в нем разных «кровей». Вероятно, их взаимодействие в физической и духовной сущности писателя отразилось в его мироощущении, сформировало творческие пристрастия.

«Все, что вынашивается литературой, основано на впечатлениях от окружающего нас изумительного, прекрасного и многообразного мира. Но не только, – пишет М. Лохвицкий в своей автобиографии. – Многое пришло в нас еще до того, как мы взялись за перо, – из сказок, рассказанных бабушкой, из воспоминаний отца и матери, из старых портретов и фотографий, из опыта, накопленного праотцами и переданного нам эстафетой наследственности».

Лохвицкому была присуща генеалогическая память: он никогда не забывал о своем происхождении. “Не знаю еще, какую роль сыграли в том, что я таков, каков есть, мои предки. Но что они одарили меня чем-то своим, – это для меня бесспорно…».

Чем-то своим, неповторимым одарил писателя дед – Захарий Петрович Лохвицкий, Закир Аджук-Гирей, по происхождению черкес-шапсуг. При трагических обстоятельствах Кавказской войны, в 1864 году, когда аул был взят русскими войсками и сожжен, а отец и мать погибли, двенадцатилетнего Закира и его тетю (она была на четыре года старше Закира, и далее ее следы затерялись) обнаружили в кустах – их учуяли собаки. Так мальчик попал к русским и затем был усыновлен пехотным офицером Иосифом Леонтьевичем Пригарем. В 1866 году штаб-ротмистр Петр Давидович Лохвицкий стал крестным отцом Закира. В дальнейщем Захарий Петрович Лохвицкий получил прекрасное образование, стал инженером-путейцем. В 1892 году его женой стала Евгения Ивановна Шадинова, дочь купца и мецената Ивана Шадинова и итальянской певицы Луизы Вазолли.

О Михаиле Лохвицком и его корнях пишет в своей книге «Быть может, за хребтом Кавказа…” известный исследователь Натан Эйдельман: «Михаил Лохвицкий охотно развернул свой «интернационал»: десятки предков и близких родственников по черкесской, русской, грузинской, армянской, немецкой, польской, итальянской линии…”

Михаилу Юрьевичу на всю жизнь запомнился дед – «высокий, чуть сутулый, смуглый, черноглазый, с седой бородкой и усами, суровый внешне» старик, сдержанный в выражении чувств. Михаил Юрьевич вспоминает: «Однажды я ушибся и заплакал. Он поставил меня перед собой и рассказал историю: «Когда я был меньше тебя, на ногу мне упал кинжал и сильно поранил. Я тоже, как ты, заплакал. Отец очень рассердился на меня... И сказал, что мужчина не должен плакать. Понял?..» Я кивнул, вырвался и убежал. Уже будучи взрослым, я узнал, что у мужчин-шапсугов и адыгов не принято проявлять нежность и ласку по отношению к своим детям и внукам. То, что дед любил меня, я понял позже, уже после его смерти».

21 февраля 1922 года в Детском селе (ныне город Пушкин)

под Петроградом у Георгия Захарьевича Лохвицкого и Аделаиды Бурбевиц родился сын Михаил, которому суждено было стать писателем и прожить яркую, сложную жизнь.

Вместе с отцом и матерью Миша оказывается на строительстве Волховской ГЭС, а потом в Узбекистане и позже – в Грузии.

Когда Мише исполнилось восемь, семья переехала в Тбилиси. Жизнь мальчика не ограничивалась учебой и шалостями. Родилась и страсть к чтению. А когда книг не хватало, Миша писал сам.

«Спорт, история, география, рисование, геология – все поочередно захватывало меня», – вспоминает писатель. «В те редкие минуты, когда я всерьез задумывался о будущем, оно представлялось мне так: какая-то профессия, дающая возможность поездить, повидать мир, а потом литература. Сомневался я лишь в выборе первой специальности: стать ли археологом или геологом, цирковым артистом или моряком, или художником? Интересовало почти все…»

Удивляет разнообразие, масштаб интересов Лохвицкого. Ведь, кроме всего прочего, Миша участвовал в строительстве детской железной дороги и с увлечением работал стрелочником, проводником, дежурным по станции и машинистом. Путешествие на теплоходе в Одессу укрепило его желание стать моряком…

Указ о призыве в армию восемнадцатилетних выпускников средней школы обрадовал Михаила. «Вот и хорошо, – думал он. – Отслужу пять лет во флоте, а там окончательно выяснится, какую профессию мне избрать».

И вот началась война. «Через три месяца я уже попадаю под бомбежку на танкере «Ялта», доставлявшем нефть в Севастополь», – вспоминает М. Лохвицкий. Спустя некоторое время его списали с корабля, как выяснилось позже, потому, что мать Михаила Юрьевича была немкой и послали в Саратов. Собравшиеся там моряки поняли, что их ожидает встреча с особистами. И, опередив события, несколько человек летом 1942 года добровольно вошли в состав батальона морской пехоты. Среди них был и Михаил Лохвицкий.

А дальше был фронт.

В годы войны судьба словно оберегала писателя – ведь он еще не выполнил своего земного предназначения.

За семь лет в армии молодой человек почти не задумывается о будущем. Но служба в морской пехоте закалила Лохвицкого, сформировала его характер и дала пищу его писательскому воображению

«Ничто так не проявляет человека, как война. Я узнал на фронте те человеческие качества, которые в мирное время могли бы остаться скрытыми. Я увидел высоты героизма, пропасти подлости и животной трусости. Я познал величайшую дружбу мужчины и беспредельность любви женщины».

В мае 1947 года Миша Лохвицкий демобилизовался. И вот – Тбилисский государственный университет. Материальные трудности – стипендия была маленькой, а жить на отцовскую зарплату не позволяла совесть, – заставили Лохвицкого перейти со стационара на экстернат и искать заработка. И он стал корреспондентом газеты «Молодой сталинец», а позже возглавил отдел по работе с сельской молодежью. По мнению Михаила Заверина (Заверин – псевдоним литературного критика Михаила Вайнштейна, редактора первой книги Лохвицкого) «именно беспокойная профессия журналиста и обогатила его во многом запасом наблюдательности, обострила интерес к событиям сегодняшней жизни, к судьбам людей... Отсюда – подкупающая достоверность лучших его рассказов, интересных прежде всего остротой проблематики».

В этот период произошло еще одно событие, полностью изменившее жизнь Михаила Лохвицкого: «Воспоминания о молодежной газете для меня одни из самых светлых, не говоря уже о том, что работа там подарила мне верного друга, спутника и соратника, любимого человека. Я стал семьянином, отцом двоих детей»..

Наташа, Наталья Андроникова. По воспоминаниям друзей, она была мудрым, сильным человеком. «В их доме, как правило, собирались интересные люди. Мишу всегда окружали писатели, журналисты. К Лохвицким приятно было зайти на огонек – На-

таша создавала в доме творческую атмосферу, уют, была мужу верной помощницей, поддерживала его во всех делах», – вспоминает журналист А. Джапаридзе. Кстати, рассказ М.Лохвицкого «Ираклий», напечатанный в «Огоньке» в 1990 году, уже после смерти писателя, – публикация доброго гения писателя Наташи Лохвицкой. Разделив с мужем все радости и горести, она ненадолго пережила его…

В 1955 году вышла в свет первая книга рассказов Михаила Лохвицкого «Встречи в пути».

Окрыленный успехом, Михаил Юрьевич, тем не менее, был отнюдь не склонен переоценивать свои литературные достижения, критически относился к своему первому опыту: «Книга, конечно, была слабая. Я об этом догадался тогда, твердо знаю это сейчас. Понимаю я также и то, почему все же ее было решено издать – ради будущего. Издатели поверили в мои возможности. Они знали, что ничто так не растит писателя творчески, как книга… Творческие люди легко ранимы, и жесткие преграды на пути молодых могут погубить не одно дарование».

Огромную роль в творческой судьбе молодого писателя сыграл русский писатель Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, который всячески поддерживал, вселял в него веру в свои силы, но при этом был требователен. Он предсказывал, что наибольшего успеха Лохвицкий достигнет, если обратится к более крупным литературным формам, начнет писать романы. Свой первый роман «Неизвестный» Михаил Юрьевич посвятил своему учителю.

Впрочем, своим писательским становлением Лохвицкий обязан многим – начиная со школьных лет. «Елена Константиновна Науменко – учительница русской литературы в школе... писатель Андро Ломидзе... директор издательства «Заря Востока» Марк Израилевич Златкин... писатель Григол Чиковани, критики Лавросий Каландадзе и Семен Трегуб, новосибирские писатели – прозаик Юрий Магалиф, поэтесса Елизавета Стюарт, поэты Хута Берулава и Баграт Шинкуба, патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулиа и сын его Георгий Гулиа – скольким я обязан за внимание к своему творчеству!»

В 1956 году Михаил Лохвицкий становится членом Союза

писателей СССР. В 1958 году в издательстве «Молодая гвардия» выходит в свет книга «Люди горных кряжей». По материалам своих частых поездок на Черное море, плавания на аварийно-спасательных судах, приписанных к потийскому порту, Михаил Лохвицкий пишет повесть «Человек выходит в море». В те же годы Михаил Лохвицкий начинает писать свои «Кортанетские рассказы».

Читатели, литературные критики приняли «Кортанетские рассказы» с восторгом. Так, Семен Трегуб писал, что в этом цикле воплощена Грузия, что именно здесь истоки творчества Михаила Лохвицкого. А Елизавета Стюарт отмечала самобытность, аромат, внутреннюю чистоту, человеколюбие, поэтичность рассказов.

Роман «Неизвестный» вышел в свет в 1965-м. Работа над ним была для писателя, по его признанию, и мукой, и радостью. Высоко оценили работу писателя поэт Александр Межиров и критик Борис Рунин. «Никогда мне не забыть тех ободряющих слов, которые услышал от Межирова и Рунина. Они оба прочитали «Неизвестного» в несколько дней. Александр Петрович, увлекающийся, как и всякий прирожденный поэт, наговорил мне кучу таких восторженных слов, что я сумел от них сразу и опьянеть, и отрезветь. В конце рукописи он написал: «Спасибо вам». И это была, пожалуй, самая большая похвала из всех, какие я когда-либо получал. Борис Михайлович сделал целый ряд замечаний – не все я принял, но большинство из них были очень точными и верными, и я буду всю жизнь благодарен ему за критику – помощь».

В 1963 году Михаил Лохвицкий вместе с семьей переезжает в Калугу, работает редактором в калужском филиале Приокского издательства.

В те годы Михаил Лохвицкий сблизился с Паустовским. В одном из писем Константин Георгиевич так характеризует начинающего писателя: «…Вот Миша Лохвицкий, какой он светлый человек, он весь светится любовью и доброжелательностью. Когда он улыбается, жить легче и приятнее». Константину Паустовскому Михаил Лохвицкий посвятил замечательный рассказ «Наедине с осенью» из серии «Портреты».

Из Калуги семья перебралась в город Обнинск. Лохвицкого назначили главным редактором городской газеты «Вперед». Здесь, в городе физиков, на короткое время воцарился дух свободомыслия, однако после ввода в Чехословакию 21 августа 1968 года советских танков началась «охота на ведьм» – «неблагонадежные» преследовались. Атмосфера накалилась… А похороны диссидента В.Павлинчука превратились в политическую демонстрацию. Сам факт присутствия Лохвицкого на похоронах расценили как своего рода вызов. Писателя сняли с работы, исключили из партии.

Грузия залечила душевные раны писателя.

«Миша, – сказали ему в Тбилиси товарищи по творческому цеху, – если бы ты не пошел на похороны человека, которого уважаешь, то мы бы тебе руки не подали».

Михаил Лохвицкий сблизился с писателем Гурамом Гегешидзе. «Это был высоко благородный человек, – вспоминает Гурам Гегешидзе. – К тому же он был настоящим кавказцем – по своим нравственным представлениям, отношению к жизни».

Друзья часто и подолгу обсуждали кавказскую тему, углубились в изучение прошлого Кавказа, истории его завоевания самодержавной Россией. Михаил Лохвицкий, к тому времени автор двух исторических романов – «С солнцем в крови» и «Выстрел в Метехи» из серии «Пламенные революционеры», издававшейся в Москве, изучал архивы, мемуарную литературу. «В своих романах, посвященных революционерам, Миша не покривил душой. Историческая эпоха изображена им достоверно, писатель не склонен приукрашивать реальность, далек от принципов социалистического реализма, – считает Г. Гегешидзе. – Он был искренним, честным человеком – это было самым главным его качеством».

Свое увлечение историей М. Лохвицкий объяснял так: «Во мне всегда жила потребность разобраться в дне сегодняшнем, подумать о том, что будет завтра. Это невозможно без глубокого знания прошлого».

Еще в 60-е годы писатель задумал роман «на материале историческом, о своих предках – черкесах-шапсугах». «По времени это будет относиться к 1860-1870 годам», – делился планами Ми-

хаил Лохвицкий, еще будучи в России. Вернувшись в Грузию, он начинает активно работать над воплощением своего замысла.
Появление такого острого произведения, в котором отразились трагические моменты истории, вызвало неоднозначную оценку. Ведь в центре повести – актуальная во все времена тема «Россия – Кавказ», а именно – исторические события Кавказской войны «Ты лучше меня знаешь и помнишь, как вопрос «Россия и Кавказ» по-разному трактовался в разное время (имею в виду наше время), – пишет в своем письме от 28 ноября 1975 года писатель Юрий Давыдов. – А ежели глянуть на дело издали, то, увы, надо сознаться, что и декабристы, и Пушкин стояли ЗА покорение Кавказа…» И далее автор цитирует поэта Петра Вяземского: «Что за герои Котляревский, Ермолов? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей… гимны поэта не должны быть никогда славословием резни».

Из письма В. Турбина, датированного 23 марта 1977 года. «Очень врезалась мне в сознание ваша повесть. Чем больше думаю о ней, тем яснее вижу, что зла она, несправедлива и что несправедливость ее нельзя доказать какими бы то ни было историческими документами, беспомощным лепетом о прогрессивности русского вторжения на Кавказ, о том, что были же, мол, среди русских офицеров и солдат и хорошие люди и т.п. И историография, и наша традиционная либеральная мораль здесь беспомощны, жалки. Мне почему-то кажется, что повесть ваша дорогу в печать себе все-таки непременно пробьет, а там… спор, затеваемый вами, бесконечен, и вряд ли нам дано дожить до его завершения».

«Ваша повесть, посвященная судьбе черкесского народа, – пишет критик Михаил Синельников в письме от 18 апреля 1978 года, – не могла оставить меня равнодушным. Это настоящая и серьезная проза. Блистательные страницы о черкесском ауле, глава о солдатах-перебежчиках. Труд, быт, любовь черкесов – необыкновенно интересно, а для меня и для 99,99 % читателей – открытие неизведанных земель…

Образы, созданные классикой, не померкнут, но замечательно

ваше развенчание типа старослужилого русского «кавказца». Повесть нравственная и служит порукой тому, что преступление, совершенное бог знает когда, хотя бы и век назад, никому не ведомое, не будет забыто…

А самые потрясающие страницы повести, конечно, те, где изображена смерть черкесов на морском берегу. Сколько тут и XX века!..

Хороша концовка «Гула». Она напоминает мне некоторые страницы прекрасного немецкого поэта и прозаика Иоганнеса Бобровского – ощущения, испытанные им на земле истребленного племени пруссов.

Разделяю с Александром Петровичем Межировым мнение о том, что эту вещь, очень острую, волнующую и талантливую, ждет европейский успех!

…Но тема «Громового гула», как мне кажется, более кровная и, конечно, выстраданная, соотнесенная и со многим современным, что, разумеется, неизбежно в повествовании о русской истории, написанном серьезным писателем в наши многому подводящие итог дни… Да, нужно мужество, чтобы взяться за такую тему. Для этого нужно быть глубоко раненым ей…»

Высоко оценил повесть писатель Юрий Трифонов: «Спасибо тебе за «Громовый гул», который я прочитал с большим интересом и удовольствием. Это настоящая историческая повесть с глубоким проникновением в эпоху, время, колорит и – в людей. Я понимаю трудности, с которыми ты столкнулся при прохождении этой книги. Но ее гуманистический смысл несомненен. Такие книги, рассказывающие о сложных судьбах не только людей, но – народов, сейчас очень нужны».

Произведение пробивалось к читателям с большим трудом. «Будучи принята к изданию в альманахе «Дом под чинарами», повесть затем начала проходить все круги цензурного ада, – вспоминает Михаил Вайнштейн (Заверин). – Мне, как составителю альманаха, приходилось выслушивать беспрестанные требования о необходимости смягчить сцены, запечатлевшие «просветительскую роль» русских войск на Кавказе. Вновь и вновь приходилось, рядясь в тогу «академичности и научности», апеллировать

к цитатам марксизма-ленинизма, неосторожно клеймивших некогда «империализм русского царизма»… Но одно дело – цитаты и история, другое – действительность и современность. И новые доводы о том, что речь в произведении идет о прошлом, – не помогали. Повесть написана сегодня, поучал меня цензор, и читатель может подумать, что это неспроста… Цензура терзала автора и редакцию альманаха многие месяцы. Появилось послесловие московского писателя Ю. Давыдова, которое должно было стать как бы «благословением» Москвы. Были сделаны кое-какие купюры, внесены поправки (некоторые куски попросту «переписывались», чтобы создать видимость «переработки»!). Борьба с цензурой шла, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Повесть выжила, устояла». Этому способствовал и Константин Симонов, неоднозначно воспринявший произведение, однако оценивший его художественную и историческую значимость.

Вместе с талантливым молодым литератором Д.Кикозашвили Михаил Юрьевич сделал инсценировку повести «Громовый гул», по которой режиссер Руслан Фиров поставил спектакль на сцене Нальчикского драматического театра. В Нальчике писателя встретили со всеми почестями. В течение двух недель Михаила Юрьевича возили по городам, аулам… и везде к нему относились с особым уважением – как к национальному достоянию. А на спектакле люди плакали: и женщины, и мужчины, обычно столь сдержанные в проявлении чувств. Эмоциональное потрясение испытал и Михаил Лохвицкий. К этому времени он как раз завершил работу и над продолжением «Громового гула» – романом «Поиски богов», историко-философской притчей. Увы, он вышел в свет, когда Лохвицкого уже не было в живых… Через неделю после премьеры писатель скончался. Сердце не выдержало стрессовых перегрузок, переизбытка положительных эмоций. Странное, мистическое обстоятельство: перед смертью Лохвицкий получил в дар от черкесов черную бурку. Именно она накрыла покойного перед тем, как он отправился в последний путь, последнее путешествие в мир теней…

Поразительно, как кавказские романы Михаила Лохвицкого оказались созвучны нашему времени.Перед каждым человеком

возвышается его собственная вершина. Обойти ее невозможно. Либо ты упорно двигаешься вперед – вверх, либо так и остаешься у подножия горы, на обочине жизни. Третьего не дано. Михаил Лохвицкий являет собой замечательный пример человека чистого, яркого, жаждущего Добра. Он обрел в итоге самого себя, сумел взойти на вершину Ошхамахо.

И. Безирганова

СОДЕРЖАНИЕ

ГРОМОВЫЙ ГУЛ (Историческая повесть).....3

И. Безирганова - ПУТЬ НА ОШХАМАХО (Послесловие) 135

МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ (Аджук-Гирей)

ГРОМОВЫЙ ГУЛ

Историческая повесть

(Третье издание)

редактор: А. Лохвицкая

обложка А. Дудаевой

Издательство «Меридиани»
Тбилиси 2010

მიხეილ ლოხვიცკი (აჯუკ-გირეი)

მეხთატეხა

ისტორიული მოთხრობა (რუსულ ენაზე)

(მესამე გამოცემა)

რედაქტორი ანა ლოხვიცკაია
გარეკანი ალა დუდაევასი

გამომცემლობა „მერიდიანი“,
თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ., №47.
☎ 39-15-22
E-mail: info@meridianpub.com